

ГОЛОСА ПОЭТОВ

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ



Анна Андреевна Ахматова (Горенко) родилась в 1889 году. Первая книга ее стихов — «Вечер» — вышла в 1912 году. В этой книге, как и в последующих — «Четки» (1914), «Белая стая» (1917), — Ахматова заявила себя сторонницей традиций русской классической лирики, поэтессой, для которой никогда не были чужды народно-песенные мотивы.

Следующие три сборника — «У самого моря» (1921), «Подорожник» (1921), и «Anno Domini MCMXXI» (1922) — отразили период мучительных поисков поэтессы собственного пути к реалистическому искусству.

В 1940 году Ахматова опубликовала сборник «Из шести книг», который подводил итог длительному периоду ее творчества.

В годы Великой Отечественной войны в поэзии Ахматовой с большой силой зазвучала патриотическая тема. Стихотворение «Клятва», написанное вскоре после нападения фашистской Германии на СССР, было расклеено на стенах осажденного Ленинграда.

В 1964 году Ахматовой была присуждена в Италии международная премия — «Этна Таормина» — «за пятидесятилетие поэтической деятельности и в связи с недавним изданием сборника ее стихов».

Великолепный мастер стиха, Ахматова внесла неоценимый вклад в дело художественного перевода. Переводы Ахматовой, как и вся ее поэзия, проникнуты идеями правды, добра, ответственности каждого за судьбу мира! Переводы польских, чешских, болгарских, югославских поэтов, и в особенности перевод сербского эпоса, включенные в настоящую книгу, относятся к шедеврам переводческого искусства.



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

Под редакцией

**П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,
М. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА
и Б. СЛУЦКОГО**

ВЫПУСК 4

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОГРЕСС”

С К О Г О П Е Р Е В О Д А

**ГОЛОСА
ПОЭТОВ**

**СТИХИ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ
В ПЕРЕВОДЕ**

**АННЫ
АХМАТОВОЙ**

М О С К В А 1 9 6 5

ПРЕДИСЛОВИЕ А. ТАРКОВСКОГО
РЕДАКТОР ВЫПУСКА М. ЗЕНКЕВИЧ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Только что открытому вами сборнику переводов суждено занять место на вашей книжной полке рядом с другими книгами Анны Ахматовой, составленными из стихотворений, подписанных только ее именем.

Стихотворный перевод, как и всякое другое искусство, начинается с отбора. Живописец-пейзажист из всего мира выбирает ту единственную частицу, которая более всего отвечает его замыслу. Актер всю свою творческую жизнь стремится сыграть «единственную» роль. Поэт-переводчик находит в иноязычной литературе то, что в данный момент исторической, общественной, личной жизни представляется ему особенно важным, особенно выразительным, и под пером нашего современника еще недавно чужое, быть может, давным-давно написанное рождается вновь для новой жизни и уже отвечает на запросы нашего времени, нашей народной среды. Так в свое время с непрекаемой необходимостью появились «Илиада» Гомера (Гнедича), баллады Шиллера (Жуковского), «Пир во время чумы» Вильсона (Пушкина), «Гайавата» Лонгфелло (Бу-

нина), трагедии Шекспира (Пастернака), сонеты Шекспира (Маршака). Если Лермонтов русскими стихами переложил «Горные вершины» Гете, то, значит, Гете ранее почувствовал и осмыслил то же, что должно было выразить Лермонтову (в другой стране и в другой обстановке), и никакие образы полнее гетевских не могли ответить взволнованному вдохновению нашего поэта.

Увы, так происходит не всегда, и основным двигателем отбора, который производит поэт-переводчик, не всегда является потребность в новом произведении. Но лучшие образцы поэзии (в частности, стихотворного перевода) призваны к жизни именно такими — живыми потребностями времени, общества, творческой сущности художника.

В строгом соответствии с художественными потребностями времени возникла и заняла определенные позиции советская школа реалистического стихотворного перевода. Каковы ее принципы? В чем ее жизненность? Это станет нам ясно на примере творчества Анны Ахматовой, широко известной у нас благодаря не только ее оригинальной поэзии, но и переводам.

Нельзя говорить об Анне Ахматовой — переводчице, не сказав ни слова о ней как о большом русском поэте.

Долгие годы длится ее творческая деятельность. Шаг за шагом мужала ее поэзия, захватывая все большие области как личной, так и общественной жизни. Сам народ заговорил ее устами в первые дни Великой Отечественной войны:

КЛЯТВА

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переplавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

1941, июль.

Анна Ахматова заслуженно пользуется благодарным признанием читателей, и высокое значение ее поэзии общеизвестно. В строгом соотношении с глубиной и широтой ее замыслов, ее «голос» никогда не спадает до шепота и не повышается до крика — ни в часы народного горя, ни в часы народного торжества. Речь Анны Ахматовой (по замечанию ряда исследователей ее творчества) ближе к языку русской реалистической прозы, чем к метафорическому неистовству первой четверти нашего столетия. Искусство поэзии знает то счастливое совпадение синтаксиса и ритма, которое оставляет неизгладимое впечатление лучшего слова на лучшем месте, впечатление высочайшего поэтического мастерства, достигшего такого уровня, что оно более не представляет собой самостоятельной ценности: теперь это только служебная часть целого, и мастерство поэта нам уже незаметно; мы слишком заняты восприятием единства, чтобы обращать внимание на частности. Таково искусство Анны Ахматовой.

Если цель реалистической поэзии — представить наиболее верное по сути и духу подобие мира, то цель реалистического (не будем бояться терминологической неувязки!) стихотворного перевода — представить иноязычный оригинал в наиболее верном его сути и духу воплощении.

Все переводы, составляющие эту книгу, не только переводы иноязычных стихотворений. Это произведения русской поэзии. Вот перевод из Юлиана Тувима, прекрасного польского поэта:

О думы молодые, вас, тихие, прошу я, —
Скажите ей, скажите, — не помню я такую...
...Скажите ей, скажите, как я по ней тоскую.

Здесь в интонации, плавной и как бы влажной (хоть и синтаксис и все слова здесь русские не только по принадлежности,

но и по их «окраске»), есть столь заметный намек на польское происхождение стихов... Трудно сказать, в чем этот намек скрыт русским поэтом, но чудо совершено. А чудо в стихах и есть поэзия.

Анна Ахматова в своих переводах скромно отступает на второй план, подчиняя свое вдохновение потоку вдохновения извне, и в то же время остается собой. Если мы вспомним четверостишие из ее стихотворения 1940 года:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как клопухи и лебеда... —

и сравним эти стихи с ее переводом из Юлиана Тувима:

Мне стали безразличны
Большие города:
Они не больше скажут,
Чем эта лебеда... —

нам будет нетрудно заметить, что поэт, скромно переводя чужие стихи, может выразить и свое отношение к миру.

В сборнике много переводов с польского: кроме упомянутого Юлиана Тувима, здесь помещены стихи широко известного у нас Владислава Броневского, Марии Павликовской-Ясножевской... Это первые страницы книги; уже начиная с них вы невольно ощутите впечатление сочувствия, единства переживаний авторов оригинала и перевода, а это впечатление — лучшее, какое может дать читателю сборник стихотворений, переведенных на русский язык. Жуковский сказал, что переводчик — соперник переводимого автора. Соперничество? О нет, сопереживание — вот суть искусства поэта-переводчика!

После польских поэтов Анна Ахматова знакомит нас с поэтами чешскими и словацкими: Иржи Волькером — мечтателем, скончавшимся так рано, со Станиславом К. Нейманом, умудренным годами, стихи которого звучат так по-неймановски и так по-ахматовски:

Разочарованность? Мне слово это
Неведомо. Оно лишь тлен и дым,
И я клянусь, что даже в час рассвета,
В похмелья час я не пленялся им... —

с Витезславом Незвалом, с Иваном Краско, чьи стихи близки к народной песне:

Лишь одной-единой
не скажу ни слова:
мой привет не стоит
сердца золотого... —

со смелым «метафористом» Мирославом Валеком, одна из строк которого:

В небе кружится ворона, как вентилятор... —

несомненно, удивит вас своей неожиданностью.

Этот сборник не претендует на широкий охват мировой поэзии. Здесь выбор оригиналов определяют пристрастия русского поэта, и, так же как в разделах книги, посвященных поэзии Польши и Чехословакии, в «болгарском» разделе помещены стихи, вероятно, наиболее близкие Анне Ахматовой.

Одно из них — стихотворение Пенчо Славейкова «Cis moll». Оно посвящено Бетховену:

...«Не проклинай судьбу,
тебе особый дан удел... Ты взял
с небес огонь страдальца Прометей,

чтобы его возжечь в сердцах людей
и этим их, горящие, возвысить...

За переводами из Элисаветы Багряны следуют стихи Александра Герова:

Луна посередине небосвода,
и дети, и скала, и птиц полет —
в великом единении природа
вдруг в этот миг себя осознает.

Так то «тютчевское», что живет в поэзии Анны Ахматовой, находит себя и здесь, в переводах.

Сказанное выше в применении к переводам с польского и болгарского можно отнести и к переводам с сербского. Одна из высоких тем поэзии — тема ответственности каждого за судьбу человека, за судьбу мира, тема причастности поэта каждому переживанию человеческой души — одна из важнейших тем Анны Ахматовой-переводчицы:

...Хасанагиница,
Белой грудью на землю упала
И рассталась со своей душою
От печали но своим сиротам.

(Сербский эпос)

Нам кажется удивительной свобода, с которой Анна Ахматова передает смелую естественность, народность интонации подлинника:

Сосенка обвила дуб высокий,
Как бессмертник шелковая нитка...

(Сербский эпос)

В сборнике представлены также переводы из румынской, норвежской и индийской поэзии.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, природа искусства стихотворного перевода, как и всякого другого искусства, трудно определяема. Поэта-переводчика сравнивали и с музыкантом-исполнителем, интерпретирующим творчество композитора, и с актером, играющим заданную ему роль, и с портретистом... Прочитав сборник переводов Анны Ахматовой, мы, быть может, и не найдем новых определений для стихотворного перевода, этого дорогого нашему читателю литературного жанра. Но нам станет ясно, что подлинный переводчик стихов прежде всего поэт, участник великой круговой поруки добра и правды, что поле его деятельности — весь мир и все времена, устремленные к грядущему...

Арсений Тарковский

Голоса поэтов

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Юлиуш Словацкий

(1809—1849)

В альбом Марии Водзинской

Были вместе они там, где снежной короной
Гребни гор серебрились; где волею божьей
Стены хижин белели у горных подножий;
Где отары, звеня, поднимались на склоны;
Где с обрывов крутых водопады срывались;
Где на срубленных соснах кричали вороны...
Там они были вместе и там же расстались.

Через годы скитальцы дождались возврата,
И встречала их рожь, васильками кивая;
Сына мать обняла, сестры обняли брата.
Всем под кровлей родной светит радость живая.
Все за общим столом, все по-прежнему в сборе,
И наполнились чаши, и счастья избыток...
Нет разлуки, исчезло вчерашнее горе.
Все собрались, и нет лишь навеки забытых.

Молодая Мария улыбки не прячет,
Просит лютню настроить и шепчет соседу:
«Не хватает кого-то...» Но праздник уж начат,

Загремела мазурка, вторгаясь в беседу.
«Да, он умер», — сосед отвечает. «Так, значит,
Он лежит в тишине?» — «Нет, рыдают по свету
Соловьи на березе, и чудится — плачет
Над могилой береза».

Проклятие

К***

Проклятая, ты отравила минуты
Земного блаженства жестокой цикутой.
И вот в одиночестве я, погребенный,
Но слезы всё помнят, всё ведают стоны.

Как часто молил я в минуты безволя
Хоть капельку счастья, крупицу покоя.
Мне хлеб ты давала, отравленный болью.
«Пусть слышит», — сама говорила с собою.

Я с горем смирился. Но знай непреложно,
Что, в трауре скорби безмолвно тоскую,
Чуть шорох заслышу, я вздрогну тревожно,
Но жду не тебя, не тебя, а другую.

Я плачу о той, что была мне всех ближе,
О той, что сестрою была мне в изгнанье.
Очами души я, быть может, увижу
Тех чудных очей неземное сиянье.

Ни горечь, ни боль не вставали меж нами...
Мне сердце она не умела кровавить,
И ангелы божьи не ведают сами,
Меня ль оправдать иль ее обесславить.

А ты! Ты мне горечью сердце поила
И грубо касалась той раны открытой.
Минувших мучений недобрая сила,
Будь проклята, будь навсегда позабыта!

Разлука

Разлучились, но помним и любим друг друга,
Между нами проносится голубь печали,
Он нам вести приносит: я знаю, одна ли
Ты в саду или в горнице плачешь, подруга!

Знаю час, когда боль тебя мучит нещадно,
Знаю слово, какое слезу вызывает,
И звездой ты мне светишь на небе отрадно,
Той, что плачет и синюю искрой сверкает.

Не увижу тебя — что мечтать мне впустую, —
Но я знаю твой дом, знаю сада сиянье,
И тебя и глаза твои в мыслях рисую, —
Ты в саду в белоснежном своем одеянье.

Тщетно ты бы мои создавала пейзажи,
Их луной золотя иль зарею нагорной,
Мне под окна, увы, не осмелишься даже
Сбросить небо, назвав его гладью озерной.

Разлучать бы ты озеро с небом не стала
Днем вершинами гор, ночью скал синевою;
Ты не знаешь, что тучи, как кудри на скалах,
Словно в трауре скалы стоят под луною;

Ты не знаешь, где всходит жемчужина эта,
Что избрал я твоею звездою счастливой;
Ты не знаешь, что два огонечка — два света
В двух оконцах горят под горой молчаливой.

Заозерные звезды печально люблю я,
Пусть кровавы они и мерцают туманно;
Я сегодня их снова увижу, т о с к у я, —
Хоть и тускло, но светят они постоянно.

Ты ж погасла навек для скитальца, подруга!
И свидания час никогда не настанет.
Умолкаем и вновь призываем друг друга...
Соловьи так друг друга рыданием манят.

А[ЛЕКСАНДРЕ] М[ОЩЕНСКОЙ]

Сонет I

Ясные очи нашла ты в забаву,
Чтоб их горючей слезой затуманить.
Выбрала сердце, чтоб мучить и ранить,
Полное грусти, влюбленное в славу.

Все же оно переносит отраву
Слез, ибо предано богу и року;

Прежде чем сердце растопчешь жестоко,
Сталь обагрю я струею кровавой.

Будет ли слову девичьему вера,
Будто на сердце ее монограмма?
Сердце поэта в плаще тамплиера;

Крест на плече у защитников храма;
Тело покрыто кольчугой железной;
Сердце в могиле, бездонной, как бездна.

Сонет II

Язык скорбей молчать не приневолишь,
Тяжелый гнев овладевает мною:
Я опозорен горькою виною,
Я сердце растоптать готов за то лишь,

Что ты меня любила, что иное —
Высокое горенье — не сумело,
Освободив меня, достичь предела...
Нет я не назову тебя женою!

Нет, лучше ад, чем в трепетных порывах
Прильнуть к груди, где вместо сердца камень!
За поцелуи уст умноречивых

Я не отдам мой вдохновенный пламень,
Чтоб статуя его оледенила.
Нет, лучше смерть, отраднее могила.

В альбом Зофье Бобровой

Пусть Зося у меня стихов не просит;
Едва она на родину вернется,
Любой цветок прочтет канцону Зосе,
Звезда любая песней отзовется.
Внемли цветам, согретым зноем лета,
Из звездам, — это лучшие поэты.

У них давно приветствие готово;
Внемли же их напевам чудотворным;
Мне любо повторять их слово в слово,
Я был лишь их учеником покорным.
Ведь там, где волны Иквы льются звонко,
Когда-то я, как Зося, был ребенком.

Мое никак не кончится скитанье,
Все дальше гонит рок неотвратимый...
О, привези мне наших звезд сиянье,
Верни мне запахи цветов родимых.
Ожить, помолодеть душою мне бы!
Вернись ко мне из Польши, будто с неба.

13 марта 1844 г., Париж

**Мария
Павликовская-Ясножевская**

(1893—1945)

Пернатый

Идиот — пернатый —
Глуп до неприличья,
Маковкой головка,
Пестрая каемка —
Враг кота заклятый,
Пять своих яичек
Сохранивший ловко,
В них — глупцы-потомки!
Прижимаясь к ветке
Боком рыже-синим,
В спор ввязался едкий
Со вторым кретином,
И поет, поет он
Глупости без счета.

Ураган

Небо в черном гневе.
Толпы туч. Рокот.
Счастливы деревья!
Вышуметься могут!

Ника

Как схожа ты с Самофракийской Никой.
Любовь отвергнутая и глухая!
Ты вслед бежишь с такой же страстью дикой,
Обрубленные руки простирая.

Подсолнечник

Дорастаем до твоих познаний,
До высокой мудрости твоей,
О цветок, примером взявший солнце!
Темные тугие семена
Издавна нам хором предвещали
Солнечное темное ядро,
А корона желтых лепестков —
Фотосферу.
Дикое дыхание корней
Густо обволакивает стебель,
Или, может, это запах солнца,
Что ты предвкушаешь?..

Смерть Кариатиды

Каська, мрамор наш польский,
Брызжет лазурью,
А голова создана для веселого солнца,
Ей же велели терпеть на себе
Безобразье балконца,
Нагроможденье мещанского дома,
Сварливого ада...
Легче балкон удержать,
Чем свое распаленное сердце!
Мрамор слабел и слабел
И рухнул, подточен любовью...
Метлы посмели дотронуться!
Над Кариатидою — Касей
Вслух издевались ступеньки,
Когда она вязла в грязи,
Всеми забытая.

• • • • •

Больница,
Касю принявшая,
Белой была и огромной,
Бьется в горячке
Тело богини вчерашней,
И погибает она со словами служанки
всегдашней:
«В погреб уже опускаюсь...
За углем...
Темно мне...»

Недоразумение

Вот светлый нимб: галактики сиянье.
Песнь соловья — со звездами слиянье,
Прочь от земли стремящаяся трасса...
В жасмине — шелест.
Кошка серой масти
Мечтает:
«Распевающее мясо
Даст знак сейчас — где на него напасть мне».

Быть цветком?

Расцветают. Молча громоздятся
На решетку сада, на шпалеры...
Пленники? Статисты? Декорации?
Так легко их прославлять без меры,
Но цветком быть...

Трены висянские

1

Есть замок над древней рекою,
Который — война причиной —
Сейчас от меня далеко и
Экзотикой кажется ныне.

2

Глухой печалью поила
Река, что мне снится в муке,

Когда я с моста следила
Причудливые излучки.

3

А мысль — ее ход запутан —
Нашептывала упрямо,
Что я уж тонула будто
В пучине вот этой самой...

4

То чувство, что я отторгла,
Предчувствием было далеким,
Что схватит меня за горло
Тоска об этом потоке.

5

Ветер по тайному знаку
Ломает на Висле льдины.
Во сне дохожу до середины
Моста Зодиака...

6

В замке часы глуховато
Пробили двенадцать раз.
Вот дом, что моим был когда-то,
Внезапно в нем свет погас.

7

И сонных теней вереница
Стремится навстречу мне,

На мост, который мне снится,
Связующий нас во сне...

8

А утром сердце нещадно
Болит, сквозь муку пройдя...
Сейчас бы компресс прохладный
Из краковского дождя!

Ива у дороги

Ива Польши, согнутая криво,
Молнии — жесточе раз от разу —
Жгли ее... Но зеленой, чем листья,
Тысячи ветвей ее прямых
Из груди рвались, как стрелы, к выси
В ярости экстаза!..
Сколько чувств тревожит эта ива!
Верит в жизнь она... Поверим тоже.

Юлиан Тувим

(1894—1953)

Песенка

О думы молодые, вас, тихие, прошу я, —
Скажите ей, скажите, — не помню я такую...
...Скажите ей, скажите, как я по ней тоскую.

О вздохи мои, вздохи, над нею пролетая,
Скажите ей, скажите, что знать ее не знаю...
...Скажите, — стонет сердце, от горя умирая.

Сказать тебе не смею...

Сказать тебе не смею, как эта грусть безбрежна.
А день сегодня белый, а день сегодня снежный...

Сказать тебе не смею, как мне безмерно грустно:
Ведь ты едва ли знаешь, что значит слово «грустно».

Едва ль тебе известно, что значит «грусть безбрежна»,
А ничего не значит... Кругом так тихо, снежно.

Тебе слова такие казались чужды, скучны,
А может быть, и близки... Белеет день беззвучный.

Счастье

Мне стали безразличны
Большие города:
Они не больше скажут,
Чем эта лебеда.

Мне безразличны люди
С их тысячью наук:
Годится первый встречный,
Чтоб с ним делить досуг.

Мне безразличны книги —
Хоть смейтесь надо мной, —
Я и без книг дознался,
Что значит путь земной.

В тенистой тихой чаше
Я понял счастье жить.
О боже, как за это
Тебя благодарить!

Всё

Все, все отдать тебе без колебанья,
Движенье каждое души живой.
Былое — о тебе воспоминанье,
А будущее — взгляд священный твой.

Все, все: и сердца каждое биенье,
И грош последний, и остаток сил,
Огонь души, мечтанья и смятенье...
Твой путь отметить жаркой кровью жил.

Предать. Отречься. Но в песок мельчайший
Разгрызть каменья на твоём пути,
И за тобою следовать все дальше,
И если повелишь — на смерть пойти.

У ног твоих спокойно и смиренно
Отдать дыханье, славя и любя,
И в миг последний веровать блаженно,
Что умереть я мог лишь за тебя.

Цыганская библия

Что цыганскою библией стало —
Колдовскою, изустной, бездомной?..
Только бабам напев ее темный
Шепчет ночь на Ивана Купала.

В этой книге — дыханье нарда,
Шелест леса, гаданье по звездам,
Тень могил, пятьдесят две карты,
Белый призрак, что век не опознан.

Кто открыл ее? Мы, книгознаи,
Роясь в памяти — в древнем хламе,
Лишь догадкой, владеющей нами,
В сердцевину страстей проникая.

А легенда путями кривыми
В темном знанье, как речка петляет,
Не по жизни иль смерти — меж ними,
Но и жизнью и смертью пленяет.

Лишь догадкой, как сновиденье,
Перелистываются страницы,
И над книгой, в полуночном бденье,
Льют слезу восковую громницы.

А стихи только чудятся где-то
В огневом и мгновенном звучанье —
Это нечто о муках поэта,
Что несет избавленье...
Но звук исчезает в тумане.

Олень

В чаще стук, и не дятел стучит,
Не топор; словно призрак, в чаще
Так пронесит олень свой щит
Над челом — из ветвей стучащих.

Задевают о каждый ствол,
Схожи с арфой и манят светом.
Прихожане лесные, в костел
За оленем ступайте следом!

Чашу стук пробуждает; в ней
Просыпается нечисть лесная,

Толпы леших, тени ветвей,
Привиденья, сквозь лес проплывая.

Виден блеск алтаря сквозь лес
И молитвы туманных чудес.
Гром и трепет вскипают в пене
На цветущей арфе оленя.

О сирени

Сирень стоит густая,
Мокра, крупнозерниста,
Само стихотворенье — расцветшая эта сирень.
Ты в шесть утра проснулась
И с напряженным сердцем
Из-за меня ломаешь лучистую эту сирень.
Так рано и так жарко,
А что же будет в полдень,
Когда нестерпимей станет благоухать сирень!
На цыпочки поднявшись,
Ты нежными руками
Отламываешь, волнуясь, за веткой ветку в гуще.
Счастливая, ты целуешь
Письмо, что слишком кратко,
Так беспощадно кратко...
Насильно мил не будешь!

От такого счастья
Я вздрогнул, как сирень.

Ты

Ты — связь моя с землею,
Небесная отрада,
Ты — все на белом свете,
К чему стремиться надо.

И лишь тебя я знаю,
Лишь ты мне благодатна.
На мир махнул рукою —
Мне все там непонятно.

Там что ни мысль — пучина
И что ни шаг — распутье.
Молчишь ли, говоришь ли —
Ты прояснение сути.

Твое лишь слышу сердце
С его кипучей кровью
И в жизни, полной смерти,
Единой жив любовью.

Темная ночь

Человек, согбенный ношей,
Сядь со мною.
Помолчим в ночи, объятый
Тишиною.

Скинь с плеча
Сундук дубовый,

Сядем рядом,
Глянем в ночь по-человечьи —
Долгим взглядом.

Груз тяжел. И хлеб что камень.
Дышим трудно.
Помолчим вдвоем. Два камня
В тьме безлюдной.

Темное небо

Блистанье звезд погасить
Легко! Так легко стать бездомным!
Но как же душе позабыть
О звездном сиянье бездонном?

Так просто счастливым крылом
Любви поднебесье измерить!
Так трудно, так трудно потом
В глаза тебе глянуть — и верить.

Беззвездных не переплыть
Небес мне, ни взором окинуть.
Так было легко за тебя
И сладостно сгинуть!

Вечерние стихи

Порой над сумраком улиц оранжевый блеск заката
Разбивает небесные стены на огненные обломки.
Тогда октябрьской Варшавой весенние, как когда-то,
Плывут вечера молодые, будто напев негромкий.

И сколько ни было слез, и любви, и грусти отрадной,
И сколько ни было счастья в прохладных ливнях весенних,
И слов моих для тебя, и нежности необъятной, —
Все с неба нисходит ко мне в ласкающих дуновеньях.

И снова иду я легкий, дыханием ночи пьяный,
Словно на сердце открытом несу листочек росистый...
Тогда в твоём городке темнели ночью каштаны
И под пальто на сердце дышал горошек душистый.

Единственная моя, лишь пред тобой я плачу.
Ты поймешь. Ты простишь меня взглядом очей покорных,
Найдешь и любовь и весну, что в этих словах я прячу,
И в этих вечерних стихах — горечь страданий черных.

Воспоминанье

В мимозах стынет осени начало,
Такой же милой, хрупкой, золотой.
Та, что меня на улочке встречала,
Та девушка тобой была, тобой.

В передней пахло письмами твоими,
Когда я, задыхаясь, в дом вбегал.
Над крышами в осеннем легком дыме
Рой ангелов меня сопровождал.

В мимозах словно прячет увяданье
Бессмертник желтый, октября цветы.
Та, шедшая под вечер на свиданье,
Моя единственная, это ты.

В саду шептал слова тебе, лил слезы,
Тебя молил — уже во власти сна,
И майская — от золотой мимозы
Плыла меж туч осенняя луна.

Ах, милый сон меня баюкал, нежил,
Я засыпал, когда вставал рассвет.
Меня минувших весен призрак тешил,
Как этот душный золотой букет.

Владислав Броневский

(1897—1962)

Warum? *

Нет больше слов. Ни одного...
А было их — но сосчитать.
Откуда ж радость? Отчего
так страшно за нее опять?

Опять, как много дней назад,
трепещет сердце ночь и день,
и слезы блещут и кипят,
как наша польская сирень!

И нежность вновь. И моря шум.
И молчаливый лунный свет.
На шумановское «Warum?»
«Люблю...» — чуть слышный твой ответ.

И нужно ль было столько мук
и столько вспышек грозových,
когда прикосновеенье рук
так много значит для двоих?

* Почему? (нем.).

Последнее стихотворение

Может, любила ты... Но не так,
не с той силою.
Вместе мы шли с тобой, но не в такт...
Прости, милая!..

Год буду помнить... Еще год...
Боль притупится.
Справим же тризну, пока трясет
огневица.

Нет, ты стиха поминальный звон
слышишь едва ли!
Мелкое чувство — из сердца вон!
Идешь далее.

Что мне осталось с этого дня,
если тебя нет?..
Только — поэзия. Та меня
не обманет.

Что мне осталось?.. Грусть за двоих...
Твой след потерян.
Только лишь грусть. Только мой стих...
Он мне верен.

Калине

Нет, я рыдал
не о тебе той ночью!
И ввысь бросал двустрочья,
чтоб стих, как месяц, в небе встал воочью.

Быть может, — слышишь ли меня, калина? —
над ним хоть кто-то погрустит немного!
А я, собрав все беды воедино,
пойду, ногами побреду босыми
куда глаза глядят... Пойду глухими
путями... Не твоей — другой дорогой.

Все отошло. И я об этом плачу.
Но что-то с нами навсегда... Иначе
стихи пишу, ночей не сплю совсем —
зачем?

Зеленое стихотворение

Мало мне нужно на свете:
тебя и ветви,
чтобы в оконной раме
качнулись, зазеленев,
чтоб я писал стихами
о том, что... каждый нерв,
каждый миг одиночества,
боль, — ее пульс частый, —
злое таит пророчество,
шепчет: несчастный...

Мало мне нужно на свете:
но это — весь свет, может стать! —

тебя,
зеленые ветви,
и чтоб в листьях акаций
ветер шуршал, рябя,
и чтобы на сердце — покой,
и чтоб котенок стал занавеской играть,
а мне — сидеть на крылечке день-деньской
и ничего не знать.

Все я напутал,
это неправда, как будто...
Но отчего так больно, так больно?..
Верно, я больше уже ничего не скажу,
верно, я в грозную тишь уйду
невольно.

Мало мне нужно на свете:
тебя и зеленые ветви.

Аноним

Как рокот созвучий, как запах шальной
нависшей над Вислой сирени,
как счастье, плывущее сонной волной
сквозь день мазовецкий весенний.
Как то, чего нет еще, что — как намек
в порывах робко тревожных
растет, как подснежники, как вьюнок
у ног берез придорожных,
как зелень ликующим майским днем,
как паводка буйный подвиг,

как ласточки, что бороздят окоём
по две...
Как вольный, широкий полет орла,
как светлая власть над Словом —
такой она в сердце моем жила
и грузом легла свинцовым.

Счастье

Со встречи той вечерней
мне кажется все чаще,
что счастье мое, верно, —
зеленое, как чаша.

Пусть вьется эта зелень
ночей моих бессонных,
пьянит меня, как зелье
очей твоих зеленых.

Пусть я на дне пребуду,
где плавает в молчанье
чешуйчатое чудо
с зелеными очами,
зелеными до дрожи...
Где все на сон похоже.

Пред сном, хоть по ошибке,
прочти придумку эту...
Что счастье?..
Дар улыбки
взамен на дар поэта.

Мария

Картофель делишь бережно и строго,
а ум уже другой заботой занят:
из лавки счет, на обувь хоть немного...
Нет, не достанет...

И снова к добрым ты идешь знакомым.
(Куда теперь их доброта девалась!)
— Вот — мыло... Что? Не нужно?.. —
И пред домом
другим стоишь, преодолев усталость.

Вечерняя работа... — Кофе чашку?
Ты подаешь... Минутка перерыва.
Стоишь и улыбаешься с натяжкой,
слеза из-под ресниц блестит пугливо.
А ночью, может быть, придет гестапо.
Заплачет дочка... Вскочишь ты мгновенно,
И будут шарить грязные их лапы
в моем столе... Во всем, что сокровенно.

Неужто все в тебе война убила?!
Я — далеко... Но слышишь ли, родная,
что я в порывах ветра с прежней силой
к тебе взываю?..

Вислава Шимборская

(род. в 1920 г.)

Голодный лагерь под Яслем

Вот так напиши. На бумаге простой простыми чернилами: есть не давали. Все умерли с голоду. *Сколько их было? Вот поле. На каждого сколько травы приходится?* Так напиши: я не знаю. Историю смерть до нулей округляет. Ведь тысяча и один — это тыща; того одного — будто не было вовсе; придуманный плод; колыбель без ребенка; букварь, для кого неизвестно открытый; растущий, кричащий, смеющийся воздух; крыльцо — для сбегающей в сад пустоты; то место в ряду, что никто не займет.

Мы по полю бродим, где все стало явью, а он как подкупленный смолкнул свидетель. На солнце. Зеленый. Недальний лесок. Еда — древесина, питье — под корой: рассматривай это виденье хоть сутки, пока не ослепнешь. Над кронами — птица,

и тень сытных крыльев ложилась на губы,
и челюсти медленно приоткрывались,
и зуб ударялся о зуб.

Ночами сверкал меж созвездьями серп,
приснившийся хлеб в тишине пожиная.

Рука с почерневшей иконы являлась,
сжимавшая чашу пустую в ладони.

На вертеле проволоки колючей
торчал человек.

С землей на устах пели *дивную песню*,
как цель поразила воина прямо в сердце.

Какая тут тишь, напиши.

Да.

Баллада

Вот баллада об убитой,
что внезапно встала с кресла.

Вот баллада правды ради,
что записана в тетради.

При окне без занавески
и при лампе все случилось,
каждый видеть это мог.

И когда, захлопнув двери,
с лестницы сбежал убийца,
встала, как еще живая,
пробудившись в тишине.

Встала, головой качнула
и глазами, как из перстня,
поглядела по углам.

Не по воздуху летала —
стала медленно ступать
по скрипучим половицам.

А потом следы убийства
в печке жгла она спокойно:
кипу старых фотографий
и шнурки от башмаков.

Не задушенная вовсе,
не застреленная даже,
смерть она пережила.

Может жить обычной жизнью,
Плакать от любой безделки
и кричать, перепугавшись,
если мышь бежит. Так много
есть забавных мелочей,
и подделать их нетрудно.

И она встает и ходит,
как встают и ходят все.

За вином

Взглядом дал ты красоту мне,
как свою, ее взяла я,
проглотила, как звезду.
И придуманным твореньем

стала я в глазах любимых.
Я танцую и порхаю,
сразу крылья обретя.
Стол — как стол, вино — такое ж,
рюмкою осталась рюмка
на столе на настоящем.
Я же выдумана милым
вся, до самой сердцевины,
так что мне самой смешно.

С ним болтаю как попало
о влюбленных муравьишках
под созвездием гвоздики
и клянусь, что белой розе
петь приходится порой.

И смеюсь, склоняя шею,
так, как будто совершила
я открытье, и танцую,
вся светясь в обличье дивном,
в ослепительной мечте.

Ева — из ребра, Киприда —
из морской соленой пены
и премудрая Минерва —
из главы отца богов —
были все меня реальней.

Но когда ты взор отводишь,
отражение на стене я
вновь ищу и вижу только
гвоздь, где тот висел портрет.

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Иржи Волькер

(1900—1924)

Покорность

Стану я маленьким и еще уменьшусь,
Пока не сделаюсь всех меньше в мире этом.

На утренней лужайке летом
Я к еле видному цветочку потянусь
И зашепчу, его обнимая:
«Мальчик босой,
Небо о тебя опирается рукой,
Каплею росяной,
Чтоб не упасть».

В парке около полудня

Белизна первоцветов плывет по газонам,
И на яхтах уносится день голубой,
На песке детвора раздает его кронам,
Раздает этот день в суете городской;

Я могу все любить,
Сегодня и завтра еще, может быть,

Станислав Костка Нейман

(1875—1947)

Зимняя ночь

Нет, это не земля, а сон,
Лучистых колдовство ночей
Под темным пологом небес,
На бархатных волнах полей.

Нет, это не земля, о нет,
Но белых музыка дорог, —
Они, чтоб лить свой тихий блеск,
Свет звездный ввергли в глубину.

Нет, это не земля, — она
Дар бесконечности самой.
Морозной вечностью бреду,
Ничтожный я чудак смешной.

Понял я твое молчанье

Понял я твое молчанье,
Голос твой, твои движенья

Это выдали вчера.
Ты молчишь красноречиво,
Ты, гордясь, судьбе покорна,
Но спокойна не вполне!
Знаю: ты не посмеешься,
Знаю: больше не ударишь.
Буря властвует тобою,
Я дрожу!

С легким сердцем, так бездумно
Ты всегда играла мною.
Ты меня едва терпела,
Словно тенора-красавца.
Ты всегда числом бездушным
Ход секунд моих считала.
Ты честней!

Вышел я на луг цветущий,
Лишь один цветок я вижу,
Я к тебе тянусь безумно.
О прости, что я, презренный,
В храм осмелился войти.

С гор крутых орла седого
Я смирял уже не раз.
Но орел и в клетке помнил
Все, что видел на вершинах,
Все, что видел в пропастях.

Как прислужница Астарты,
В храм ты по ступеням всходишь.
Как святая, на арену

Цирка сходишь для потехи.
Я дрожу!

Ты надменной стройной пальмы
Над источником арабским,
Ты бесшумнее верблюдиц,
По волнам песка бредущих.
Слаще ты зари вечерней
Над оазиса шатром.

Но тебе удастся ль тоже,
Горделивой и сладчайшей,
Голову во время бури
Не склонить?!

Полемика

I

Дорог мне простор цветущий,
Красота земли простая,
Стих, ликующий иль бьющий,
Мысль, которая влетает,
Словно в домик свой пчела.

Я люблю красу такую,
Дерзкий подвиг стратосферцев,
Ненавижу ересь злую
Непонятных стратотерпцев
И вещания святых.

Честь моя и гордость это,
Наступает утро, верьте.
Я покорен силам света,
А не темным силам смерти.

II

Я по земле хожу, людей встречаю,
Я наши слабости вполне постиг,
Поэтому равно я принимаю
Борьбу и радости прекрасный миг.

Я вижу драму вечного движенья
И славой драмы проникаюсь сам;
Через измены, страхи, заблужденья
Иду по непроторенным путям.

Разочарованность? Мне слово это
Неведомо. Оно лишь тлен и дым,
И я клянусь, что даже в час рассвета,
В похмелья час я не пленялся им.

Лишь гордое невежество людское,
Что мнит себя вершиною всего,
То чувство любит — наважденье злое
Из глубины тщеславья своего.

III

Лишь раз в свое ты не поверишь счастье,
Когда тебя коснется луч воздушный,
И, скован сном, предашься ты ненастью,
Оно в стихе заплачет малодушно.

Тут критик твой с ужимкою нечистой
Твердит, что ты в разладе с жизнью зыбкой,
А в это время облако лучисто
Тебя накажет за грехи улыбкой...

Тут, сталкиваясь за игрою, чаши
Сладчайшими лепечут голосами:
В честь превращающих в словесность наши
Творения преступными руками.

Витезслав Незвал

(1900—1958)

Продавщица чудес

Когда на бульваре блеснул водомет
и в кафе зажигали огни, я встретился с вами.
(Или это был водомет?)
Вы прошли в красной шляпке, павлина ведя за собой.
торгуя цветами лотоса
и тропическими апельсинами.

Две рыбы застыли, светясь под бровями мумия.
(Или это ваши глаза, блестящие, полные масла?)
Вы продавали цветение лотоса, лилии тропиков,
моя прекрасная гремучая змея,
вы продавали тропические апельсины...

В тот день (но что за праздник был в тот день,
не праздник ли пампасов, праздник прерий?)
сквозь сумерки вы по бульвару шли
прекрасной мумией в лиловой шляпке,
неся корзинку с чудесами Индии,
вы шли, ведя павлина за собой
и предлагая встречным
тропические апельсины.

И все колокола Европы,
знамена Азии
и попугаи Африки, и рыбы океана
увидели в корзинке апельсины.

Бенгальскими огнями озарен,
к вам подошел прекрасный далай-лама
и предложил своих рабов
за австралийских рыб, за лотос белый
прекрасной продавщице бирюзы.
За влажные глаза и бледный рот
он предлагал алмазное кольцо,
он предлагал слона, чтоб тот стерег
тропические ваши лилии,
о продавщица ядовитых губ
и жгучих апельсинов.

К вам парень с бубном подошел,
он предложил вам все планеты,
и ваших глаз светящиеся рыбы
к нему неспешно повернулись, —
два адских камня опалили
его доверчивые юные глаза,
чудес неоценимых продавщица
с глазами дев морских.

И месяц, бледный джентльмен в цилиндре,
принес вам бледных мучеников кровь,
и вы вернулись к песне,
к земле лиловых апельсинов,
где лотосы цветут и где мечта бессмертна,
моя прекрасная гремучая змея,
торгующая чудесами
среди огней вечернего бульвара.

Отдых

Проснулся я среди гор, где ночь в тиши застыла.
Колодцы и жилье, как звезды, далеки.
И понял я бродяг — им в городах немило,
а здесь душа поет и вновь шаги легки.

Как после хвори злой, отраднo сердцу было.
Я веточку сорвал, ласкал ее листки,
я шел, ведомый вдаль таинственною силой,
шел, глубоко дыша и стиснув кулаки.

Среди росистых трав впивал я чистый воздух,
и мысли обрели кристальный свет, что в звездах
морозной тишиной до блеска отгранен.

Низложенный король счастливей был едва ли,
увидев на лугу при звуках пасторали
пастушку, что встречал лишь на картинках он.

Доброй ночи

За шторами вечерний мрак стоит,
Вся выпита вода лимонная. Я слышу
Извозчиков ночных, далекий стук копыт.
Неповторимый день уходит в Лету.
Приветствую тебя, поэт. Минуту эту,
Ее звучание и блеск сумей поймать,
Иначе для чего стихи твои мне знать?

Ноктюрн

Как садовник, склоняясь над ветвями вод,
Ты сорви этот плод.

И в ладони, которой теплей не сыскать,
Дай ему дозревать.

И когда над садами, блаженно горя,
Тихо встанет заря,

Заглядевшись на этот небесный огонь,
Разожми ты ладонь,

Чтоб стеклянный фонарь, в небо вырвавшись, мог
Осветить даль дорог.

И увидишь, как он над речной глубиной
Встанет полной луной.

ИЗ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ

Иван Краско

(1876—1958)

* *

*

Лишь к одной-единой
я душой тянулся,
да и ту покинул
и не оглянулся.
Милую когда-то
вспоминаю снова.
Был я недостоин
сердца золотого.

А ко мне на свете
многие тянулись,
и ушли навеки,
и не оглянулись.
Милые когда-то,
вы теперь далеко!
Ивой придорожной
никну одиноко.

Милые когда-то,
нынче вас люблю я,

всем привет сердечный
издалека шлю я!
Лишь одной-единой
не скажу ни слова:
мой привет не стоит
сердца золотого...

Мои песни

Обыденность мне на душу легла,
как на безмолвный дол седая мгла.
Мне хочется, чтоб схлынула завеса,
чтоб видеть гребень гор, и зелень леса,
и белизну далекого селенья,
и синь небес, и ручейков кипенье,
их брызги, блески в беге торопливом,
и мотылька в полете прихотливом,
и пестрый луг, и тополь одинокий,
что ввысь стремится к синеве далекой...
Увидеть вновь шиповник над обрывом,
распяты на кладбище молчаливом...

Мне хочется, чтоб схлынула завеса.

* *

*

Дождь идет, стучит о стекла...
И лицо земли поблекло,
точно лик у той унылой,
той, кого оставил милый.

Дождь идет, стучит угрюмо...
В голове теснятся думы...
На ладони уронить бы
да заплакать бы, завывать бы...

Дождь идет, не уставая...
Оказаться б в дальнем крае,
там над насыпью могильной
плакать долго и бессильно!..

Дождь идет... А перестанет —
окна иней затуманит,
снег покроит склоны эти...
Как тоскливо жить на свете!

Баллада

Ранней ранью, утром серым
вышли мы в надежде,
Что друг другу мы поверим,
как всегда, как прежде...

День-деньской все шли да шли мы
с тайным упованьем:
может, гордость сокрушим мы
в час, когда устанем.

К ночи мы пришли обратно
без веры, без силы,
и лишь сердце по-собачьи
скулило, скулило.

Песня

Полыхала роза ало, хорошела...
Все, чем, бедная, владела, —
все любви вручила смело
и об этом не скорбела,
не скорбела.

Ну а тот, кто сомневался,
колебался, не решался, —
тот потом все сокрушался,
сокрушался...

Кто не верит — все пытается, все считает,
на кусочки сердце разбивает.

А ведь жить на свете надо
ради друга.

Гуси тянутся за тучей к югу.

Войтех Мигалик

(род. в 1926 г.)

Бездетные

Когда подходит сумерек пора
нетерпеливая, бездетные супруги
терзаются: как вечер скоротать?
Небезопасно друг на друга глянуть —
угасла нежность, пробудилась горечь.
А дети вверх по лестнице бегут
к чужим дверям и тащат за собою —
как на веревочке — и дремлющее солнце
и весь охрипший день.
А те сидят поодаль друг от друга
и ложечкой бояться в чашке звякнуть,
чтоб о своем вдруг не напомнить теле,
не оправдавшем дорогих надежд.
Как вечер скоротать?..
Где вы, кружащиеся в танце ночи,
Где крылья золотистого вина?
К чему прогулок загородных вольность?..
И руки, не ласкавшие детей,
поникли, скованы тягчайшей цепью.
В сто первый раз, как накануне в сотый,

Сегодня их не обнадежил врач.
А сумерки упрямо и тревожно
пытают их: как вечер скоротать?
Но двое — словно мертвый лес без эха.
Где взять для них сочувственную песню?
Как выполоть отчаянную зависть?
И двое в силах ли отверзнуть слух,
когда их одиночество ревниво
жестокие упреки стерегут?
Когда же третьей к ним подсядет ночь,
они к ней придвигаются скорее,
чтоб иступленно обнимать друг друга
холодными руками.

Мирослав Валек

(род. в 1928 г.)

Прикосновения

С утра вам несут телеграммы,
и письма заполнили дом,
и все телефоны трезвонят...

О нет, ничего не случилось,
лишь я непрерывно звоню,
чтоб все возвратить и поправить.
Мне сразу поверили всюду —
на почте и на телеграфе,
что шлю миллионы приветов,
молю, заклинаю тебя:
не надо сердиться, не надо,
вот это действительно важно,
меня это сводит с ума.
Тебя я люблю безгранично.
Оставь все по-прежнему, друг, —
пусть в ванной вода полыхает,
пусть кухня наполнится газом,
пусть зеркало кружится в спальне...
Скорее ко мне приезжай

на тихую нашу равнину!
У поезда будет тебя дожидаться
семерка коней вороных,
и каждый — со звездочкой белой во лбу.
Весною жасмин зацветет
и с персиков будет пыльца осыпаться
нежней твоей пудры.
Спешу, на углу уже вечер сигналит,
как старый подержанный автомобиль.
В тот самый час городское солнце
потертой заигранною пластинкой
скрывается за горизонтом, а наше
пылает начищенную сковородкой
и чуть лишь коснется до края равнины,
как сразу все звуки становятся звонче.
Услышишь, как бык допевает в хлеву
рыдающим басом свое интермеццо.
Равнина стихает, готовясь уснуть.
Вот время сниманья сапог,
и топот в округе, как на параде.
Здесь в доме любом — здоровые парни,
и звуку есть где разбежаться,
попробуй лишь выключить радио
и услышишь чужие сны.

А снится вот что:
стекло,
металл,
и камни,
и ласка в касаниях рук,
и стук в окно,
и сиянье улыбки

мгновенной, которую ждал всегда,
и снится такое, что высказать трудно,
какая-то сказка и просто снегурка...

Мне снится, что ты к моему плечу
склоняешься милой своей головкой,
и взгляд мой тонет в твоих зрачках,
и что-то нам снится,
снится...

Темно, как у фокусника в цилиндре,
но выверни этот цилиндр наизнанку,
и ночь становится днем...

Я понял, что сон осязаем.

Нервные пальцы антенн трогают темноту.

Новые домики рысью несутся к деревне.

Утро настанет нагретое, как танцевальный зал
после лихой вечеринки.

В небе кружится ворона, как вентилятор,
в поле колосья литые пригнулись к земле
от потрясения, услышав по радио весть:

«Все на жатву!»

Вмиг опустела деревня, как выдутая скорлупка.

Только старуха одна сидит-напевает:

«Уж я сеяла мучицу

сквозь дырявую тряпицу...»

Бабушка наша — слепая.

Когда-то дояркой была в имении Герца.

Молилась, чтоб жить ей подольше, полегче бы умереть.

А жизнь огрела ее кнутом, ей все еще больно.

Старуха даже не знает, что это была за жизнь.

Не помнит, как внуков зовут,

пугается громкого слова.

Ей вечер приносит бензинный чужой перегар.
И только земля, если тронуть рукою, все та же,
все так же добра и понятна она, как тогда.
Ни платица из крепдешина, ни косы, ни шестнадцати
лет,
но поле осталось, лишь дышит все жарче и громче,
и осень как прежде — пора лиловых дождей,
и сливы тяжелые каплями падают наземь.
Земля отплодоносила, ей нечего больше сказать.
Она засыпает, натягивая ватник,
а в утро святого Мартина
выпадет первый снег.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Пенчо Славейков

(1866—1912)

Cis moll

*So pocht das Schicksal
an die Pforte
Beethoven* *

Он занавеску отстранил рукой
и тихо стал перед окном раскрытым.
Ночь летняя таинственна была
и веяла дыханием усталым,
а рой мерцающих на небе звезд
сиянье проливал над миром сонным
и вел какой-то разговор невнятный
с разбуженными ветками в саду.
Ночь ясною была, но мрак зловещий
сгущался у Бетховена в душе —
сквозь этот мрак он ничего не видел.

Он тихо отвернулся от окна,
в раздумии по комнате прошелся
и у открытого рояля сел.
Мелодия взлетела бурным вихрем
и, дрогнув, оборвалась. Руки он
вдруг опустил и побледнел смертельно.

* Так судьба стучится в дверь. Бетховен (нем.).

Зловещие, безрадостные мысли
вспорхнули на мгновение черным роем,
как вспархивают искры из-под пепла,
когда разрыта груды жарких углей.
«Все для меня окончено навек!
Ослепший не увидит света солнца,
и лишь затем блуждает он во тьме,
чтоб каждый миг испытывать весь ужас
при мысли о потерянных мирах.
Слепой! Отныне для меня погасли
лучи светила вместе со звучаньем
музыки... А всегда они одни
и жизнь давали духу моему
и свет высокий чувствам горделивым.
Я жил один, — и вот себя я вижу
при жизни мертвецом. Другие люди
живут гармонией моих творений,
а я по их вине навеки глух.
И призрак участи моей жестокой
преследует меня неумолимо
своим холодным и зловещим смехом:
«Творец гармонии — ты сам глухой!»
И сердце просит мира и покоя,
покоя под землей. У двери гроба
судьба не будет ни стучать, ни звать».

Тень смерти над художником витала,
и холодом пахнуло на него,
но гений и души его хранитель
отвел удар... И вот Бетховен встал,
и поднял голову, и хмуро глянул
через окно на звездный небосвод.

«Так близок мой покой! Но сердце жаждет
такого ли покоя? Избавленья?
Покоя в смерти?! Или малодушье
о нем мне шепчет льстивым голоском?
Где ж гордое сознание, что есть
величье в человеческом несчастье?!

Да, ты слепой! Гомер был тоже слеп,
но в слепоте своей яснее зрячих
он все, что было тайным, увидал.
Так. значит, не в зрачках таится зрение,
а в сокровеннейшей святыне сердца.
И я оттуда слышу отзвук чудный, —
быть может, стонет так душевный хаос?
Рыданье ли то сердца моего
иль первый трепет мыслей неизвестных,
но гордых, зародившихся во мраке —
которым бог назначил новый путь?..

Нет! Нет! Он жив, тот всемогущий дух,
а с ним и я в искусстве существую...
Утрата одного лишь только слуха
не может уничтожить идеал,
поддержанный тем Слухом Высочайшим.
Через него я ощущаю пульс
всей буйной жизни естества земного.
Не он ли в сердце у меня трепещет?
Не оттого ль оно страдает так?
Вся жизнь его в мучениях тяжелых...
Лишь в тайном этом слухе обрету
для новых чувств неслыханные звуки,
чтобы искусство ими обновить...»

Так вот какой достигла высоты
великая душа в великой скорби!

И, унесен взлелеянной мечтой
в ее полет, он за свое творенье
заброшенное снова принялся.
И все забыл, и всех забыл на свете.
В гармонии, и дивной и могучей,
столкнулись звуки стройно и слились
в мятежный рой, летящий с новым роем,
как языки пожара. И от них
горячим вновь повеяло дыханьем...
А смертные оковы, что душа
отбросила так гордо, чуть звенели
мучительно, как отзвук дальней бури,
и где-то замирали вдалеке...
В могучем хоре молодого гимна
дыхание высокого покоя
затрепетало — гордый дух воскрес.

И в забытьи Бетховен не заметил,
как в комнату его вошел неслышно
один из молодых учеников
и, пораженный звуками рояля,
остановился. Страшные сомненья
в его уме смущенном зароились:
«Я слышу, как рычит голодный лев!
Откуда эти звуки? Как возникли?
Не в приступе ли мрачного безумья?
А может быть, забыв звучанья мира,
он потерял и память стройных форм?
Безумец, уж не думает ли он

мир заглушить рычанием громовым
и дать музыке новые законы?»

А тайное сознание шептало
Бетховену: «Не проклинай судьбу,
тебе особый дан удел... Ты взял
с небес огонь страдальца Прометея,
чтобы его возжечь в сердцах людей
и этим их, горящие, возвысить.
Ты не исчезнешь — ты в людских сердцах
бессмертие познаешь в смертном мире».

Микеланджело

Толпа уже рассеялась. Затих
крик яростный, и утомились вопли
с лучами умирающего дня.
Глухая ночь объяла вечный град.

Он оказался зрителем случайным,
великий мастер, — сам борец когда-то,
а ныне раб порывов неземных
и величавого искусства раб.
Сверкание мечей он наблюдал
и слышал звон; и часто стон предсмертный,
стон ужаса его касался слуха,
но пребывал он словно в стороне
и наблюдал, как на бойца боец
кидается и падает... Спустилась
ночная тьма.
Толпа рассеялась.

К себе домой
пошел он, голову на грудь склонив, —
в свою он возвратился мастерскую.
В безмолвии его творенья там
стояли в полумраке, залитые
сияньем лунным, лившимся из окон.
И мертвая, немая неподвижность,
как цепи, отягчившие раба,
сковала эти образы и формы.
Дыханием морозным отчужденья
повеяло от них — оно коснулось
усталого чела Микеланджело.
Он подошел бесшумно и зажег
ночной светильник. Сразу сноп лучей
лик Моисея хмурый осветил —
и в тот же миг ему пророк предстал —
он обратил лицо к Буонаротти,
как будто грохот отдаленных оргий
его от размышлений пробудил.
Что предвещает гневное чело
и трепетание ноздрей раздутых?
Миг! — миг один, и он свои скрижали,
казалось, на куски бы раздробил..
Два, три штриха — и перед нами встанет
пророк, чтоб приговор неумолимый
произнести грядущим временам.
А мастер в размышлении глубоком
слегка склонился, поднял долото
и молоток, но — выпрямившись снова —
очнулся, недвижимый и немой.
И вдруг услышал в глубине души
растущий ропот, чей-то гневный голос:

«Несчастный сын никчемного столетья,
какой злой дух заворожил твой взор,
что ты уже не видишь ничего?
Гляди — вокруг тебя кишит разврат,
и те, что пали жертвами пред грозным,
кровавым алтарем родного края,
отмщенья ждут. Но созерцаешь ты
те ужасы, в них находя усладу
и вдохновенье. Где, скажи, боец?
Где смелый вождь? Он раб среди рабов.
В его душе давно любовь и злоба
угасли. Молоток в руке сжимая,
к мольбам о помощи он глух навек.
И он живет? Да, в творчестве живет.
Он пробуждает камни...»

Дикий стон,
подобный реву раненого зверя,
взметнулся вдруг под сумрачные своды
и долго-долго там не затихал.
Буонаротти поднял молоток,
готовясь на незримого врага
его обрушить грозно. Но внезапно
он руку опустил и произнес:
«Ты прав, о гений темный. Не впервые
сейчас я услышал твои слова...
Я половину нашей жизни краткой
бесчувственному камню посвятил.
Святой огонь, огонь, зажженный жизнью,
в моей душе для жизни не горел.
Средь стен, где только эхо молотка
звучало, он слабеет день за днем.
И — ослепленный, в радости поспешной,

я искорки последние его
убил жестоко, претворяя в мрамор.
Оледенев, я все оледенил.
Так слушай справедливый, хоть жестокий
вопрос — а в нем свой смертный приговор:
«Отступник жизни, яростный художник,
зачем живет, к чему стремится он?..»
О жизнь, возьми отравленный свой меч!
Отмети м н е , — я устал, устал, устал.
И ничего не слышать и не видеть —
желанный мой, счастливейший удел.
Ах, не буди, ах, говори потише!»
Внезапно вздрогнув, руку он отвел
и, голову подняв, увидел: тени
чредой проходят пред его глазами, —
беззвучно кровью истекая, раб
в предсмертной муке корчится. Ни стоны,
ни звука не слетает с уст его.
Давид рукой взмахнул, но из пращи
не рвется камень на врага... Мария
рыдает над своим распятым сыном,
но ни одна не скатится слеза
из глаз ее, страдальчески открытых...
Нахмурил брови Брут, но нет меча
в его руке — и вряд ли сможет кто-то
узнать сокрытый замысел его...
И вслед за ними возникают тени,
такие же безгласные, немые.
И, наконец, всклокоченный выходит
сам Иеремия, полный мрачных мыслей,
но рот себе зажал болтун рукою,
чтоб лишних слов ему не проронить.

С досадою поднялся мастер. Миг —
и все исчезли тени. Лишь один
остался гордый Моисей; и мнится,
он, в бороду свою вцепясь рукою,
вдруг вскочит и разбудит бессловесных,
на подвиги поднимет громом слова...
И, распрямившись, гордо оглянулся
Буонаротти: «Оставайтесь немые!
Один за всех здесь должен говорить...»
И, размахнувшись, молотком ударил
он по колену Моисея, крикнув:
«В борьбе рожденный, на борьбу ведя их
бессмертным словом, Моисей!»

Элисавета Багряна

(род. в 1893 г.)

Зов

Здесь я замкнута, крепки засовы,
и в окне решетки черной прутья,
ни запеть не в силах, ни вздохнуть я,
ни в родной простор умчаться снова.

Как томятся в тесной клетке птицы,
зов весенний слышу сердцем ясно,
но огонь мой гаснет здесь напрасно
в душном сумраке глухой темницы.

Так разбей замки — пора настала
прочь уйти по темным коридорам.
Много раз по солнечным просторам
я веселой птицей улетала.

Унесет меня поток певучий,
что из сердца трепетного льется,
если до тебя он донесется...
— Слышишь из темницы зов мои жгучий?

Виденье

И снова на улицах наших лукавый
апрель-цветоносец поет,
и веет зеленой весенней отравой,
которая слаще, чем мед.

Но в комнате этой и душно и тесно
за крепко закрытым окном,
а то, что скажу я, так было чудесно,
что мнится не явью, а сном.

Я видела море зеленого цвета,
корабль над кипучей водой...
У нового берега — пламя рассвета,
сирен оглушительный вой.

Диковинны люди, неслыханны речи,
дерзанье не знает конца,
и синие очи, и сильные плечи,
и вольностью дышат сердца.

А друг, недовольный и мрачный, шагает
по комнате мимо меня, —
мой голос ломается и замирает,
всю горечь обиды храня.

Напрасно! Отравы горячей струю
тревожную кровь обожгла,
и вот уж взвились у меня за спиной
два сильных, два вольных крыла.

Расплата

Ты что-то очень бледен? Отчего
не слышу смеха или шутки милой?
Что? Ты ревнуешь друга своего?
Тебя страшит разлуки час унылый?

Ты у огня погреться был не прочь,
но разве мук моих ты знал причины,
как суждено мне было изнемочь,
смиренно никнуть в песне лебединой.

Теперь ты волен. Возвратись туда,
а этот сон, немой и одинокий,
забуди и, если можешь, навсегда —
ему конец я выбрала жестокий.

Ты к ней иди, меня же — прокляни,
я и любить, как нужно, не умею...
Меня полет снежинок опьянит,
я новой песней всю печаль рассею.

На «Гелиосе»

Не разрушай восторг — он чист и нем,
и памяти моей не трогай нежной;
ты там живешь, и там ты мой совсем,
где «Гелиос» баюкал белоснежный
нас средь спокойных и ночных зыбей,
когда на нас из темноты глядели

глаза прибрежных золотых огней
и призраки венгерских цитаделей, —
а вихрь платок мой легкий подымал
и плащ дорожный с плеч упрямо рвал.
И хлынул ливень, все преображая,
как радуг блеск над волнами Дуная.

И пусть твой лик навеки будет слит
с неделей, что меня заколдовала,
где первый мой порыв еще горит,
где я себя еще не вопрошала,
как будет труден мне мой путь домой,
и я еще не знала, что мне м и л о , —
свобода, или спутник молодой,
иль эта песня мощного кормила,
иль радость, не допитая до дна,
иль ветер и речная ширина.

Вечная

Бесплотная уже и как бескровна,
безмолвна, неподвижна, бездыханна.
Так вот она как вытянулась ровно,
Мария это или это Анна?
Теперь молитесь, плачьте до денницы,
не дрогнут больше, не взлетят ресницы,
и рот, что крепко сжат, не шевельнется —
последний стон к покойной не вернется.
И гладкое кольцо как бы готово
скользнуть на грудь ей с пальца воскового.
Но слышите ль вы голосок ребенка,

который в колыбельке плачет звонко?..
Где мать? В могилу опустили тело,
Душа усопшей в вечность улетела.
Минуют дни, столетия минуют,
вновь губы милого восторжествуют
и вновь шепнут «Мария» или «Анна»
в безмолвье полночи благоуханной,
и внучка оживит неотвратимо
глаза и губы той, что нам незрима.

Судьба

Сквозь сумрак узких улиц, сквозь стены и
балконы,
сквозь грустное журчанье и предосенний сон,
сквозь город мой, в железо и в камни
погребенный,
я чувствую, как ждешь ты, — и счастлив и смущен.
Угадываю взгляд твой, блуждающий во мраке,
и руки, что невольно протягивает друг, —
теперь я будто вижу, как шаг ты ловишь всякий,
как вздрагивает сердце в ответ на каждый звук.
Я вздрагиваю тоже, — и тайных нитей сила
влечет меня, и больше в душе сомнений нет.
Иду — и быть не может, чтоб я себя спросила,
в каком сегодня доме застигнет нас рассвет.

Забывье

Говори, говори, говори —
опускаю ресницы и внемлю:

гор дымятся внизу алтари,
вижу смутные море и землю...

Там закат багровеет, горя,
здесь пожарища дым и тревога, —
где нас встретит сегодня заря
и куда эта вьется дорога?

О, туда ль, где мы, полные сил,
можем, словно два пламени, слиться
и в ночи средь небесных светил
как двойная звезда засветиться?

— Я конца не предвижу пути,
позови — я согласна идти.

Безумие

Могучий вихрь — тревоги грозный знак.
Какие эта ночь таит виденья, —
и тополя зачем взметнулись так!..
О, что за крики, вопли и моления!
Умолкнет и опять застонет мрак.
Не рвется ль чья-нибудь душа из мира?
Зачем нам лес грозит, как злобный враг,
и Орион сверкает, как секира?

Такая ночь — для заговора друг,
страшны пожаров огненные лица,
самоубийцу манит смертный круг,
о боже мой, на что глядит возница!
Не третий ли уже петух пропел?

Свистя, играет ветер проводами,
раздался к р и к, — и конь осатанел,
как будто кто-то гонится за нами.

Но не принцесса я, ты не король,
мы не хотим ни скипетра, ни трона,
не сеем мы страдания и боль,
мы грамоты не прячем потаенной,
нам не нужна ничья на свете кровь.
На мир глядим мы влажными очами,
чтобы поймать хоть тень твою, любовь!
Мы твой мираж хотим увидеть сами.

Requiem

Не то мое горе, что я без тебя одинока,
что жизнь без тебя непосильно тяжелое бремя,
что сломлена я, и что день мой окончен жестоко,
и нету надежды, что скорбь мою вылечит время.

Не то мое горе. Пускай бы железной рукою
судьба между нами навеки воздвигла преграду
и я в отдаленье томилась бы черной тоскою —
я даже измену, забвенья приму как награду.

Лишь только бы знать мне, что ты еще здесь,
еще дышишь.

И снова к тебе мои мысли летят, словно птицы.
О, только бы знать мне, что ты еще видишь

и слышишь...

В окошке огонь — ты не спишь и листаешь страницы.

* *

*

Сигнал. Свободен путь. — Иди, иди!
И выброси скорей в окно вагона
порожние кульки — воспоминанья.

Ты, мать моя, ты, родина, прощай...
Увидимся ль еще?..

Быть может, с полными вернусь руками
и все сложу к ногам твоим тогда,
промолвив: — О! Прости! Благослови!

И солнце, заходя, сойдет мне в сердце...

Книга

Ты с болью влагаешь в нее все, чем дышишь,
ей в жертву приносишь счастливый покой,
в ней жизнь и мечтанья скрестились навеки,
сияя твоею последней свечой.

Так бодрствуешь ты, осужденный невинно,
и пламя твои опалило черты,
и так же над нею заснешь без возврата,
все сердце отдав человечеству, ты.

А люди лениво ее полистают,
пред тем как в постели спокойно заснуть,
и в дреме, быть может, промолвят, вздыхая:
«Вот это судьба — вот блистательный путь!..»

Александр Геров

(род. в 1920 г.)

Литературный утренник

Детьми был зал наполнен до отказа —
гуденье, шепоток со всех сторон.
Я посмотрел на лица их и сразу
притих — глубокой тайной потрясен:

ведь страсть моя волнует души эти,
во мне же затаен такой секрет,
которым обладают только дети.
И понял я, что смерти вовсе нет.

И, словно наклонясь над пустотою,
я становлюсь чем дальше, тем сильней:
пускай мой прах смешается с землею,
уже я не смогу исчезнуть в ней.

Луна посередине небосвода,
и дети, и скала, и птиц полет —
в великом единении природа
вдруг в этот миг себя осознает.

День

Тобою полон день, твоею сутью
и этот день так долог, так велик,
что время все с его бескрайней жутью
теперь ничтожно для меня, как миг.

Сверкающие звезды в отдаленье
на небе вышивают плащ ночной.
Благодарю, о вечное мгновенье,
за день, когда она была со мной.

ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ

СЕРБСКИЙ ЭПОС

Хасанагиница

Что белеет средь зеленой чащи?
Снег ли это, лебедей ли стая?
Был бы снег там, он давно бы стаял,
Лебеди бы в небо улетели;
Нет, не снег там, не лебяжья стая:
Хасан-ага там лежит в палатке.
Там страдает он от ран жестоких;
Навещают мать его с сестрою,
А любимой стыдно показалось.
Затянулись раны и закрылись,
И тогда он передал любимой:
«В белом доме ждать меня не нужно,
Ты в семье моей не оставайся».
Услыхала любя речь такую,
Горьких мыслей отогнать не может.
Топот конский слышен возле дома;
Побежала женщина на башню
И прильнула там она к окошку;
Вслед за нею бросились две дочки:
«Что ты, наша матушка родная,

Не отец наш на коне приехал,
А приехал дядя Пинторович».
Воротилась женщина на землю,
Крепко брата обняла и плачет:
«Ой, мой братец, срамota какая!
Прогоняют от пяти малюток!»
Бег спокоен, не сказал ни слова,
Лишь в кармане шелковом пошарил
И дает ей записку о разводе,
Чтобы все свое взяла с собою,
Чтоб немедля к матери вернулась.
Прочитала женщина посланье,
Двух сыночков в лоб поцеловала,
А двух дочек в розовые щеки,
Но с меньшим сынком, что в колыбельке,
Слишком трудно было расставаться.
За руки ее взял брат суровый,
И едва лишь оттащил от сына,
Посадил он на коня сестрицу
И поехал в белое подворье.
Долго дома жить не удалось ей,
Лишь неделю пробыла спокойно.
Род хороший, женщина красива,
А такую сразу едут сватать.
Всех упорней был имоский кадий.
Просит брата женщина, тоскует:
«Милый братец, пожалей сестрицу,
Новой свадьбы мне совсем не надо,
Чтобы сердце с горя не разбилось
От разлуки с детками моими».
Бег спокоен, ничему не внемлет,
Принимает кадиевых сватов.

Просит брата женщина вторично,
Чтоб послал он белое посланье,
Написал бы просьбу от невесты:
«Поздравленья шлет тебе невеста,
Только просьбу выполни такую:
Как поедешь к ней ты на подворье
С господами сватами своими,
Привези ей длинную накидку,
Чтоб она свои закрыла очи,
Не видала бедных сиротинок».
Кадий принял белое посланье,
Собирает он нарядных сватов,
Едет с ними за своей невестой.
Сваты ладно встретили невесту
И счастливо возвращались с нею,
Проезжали мимо башни аги,
Увидали девочек в оконце,
А два сына вышли им навстречу
И сказали матери с поклоном:
«Дорогая матушка, зайди к нам,
Вместе с нами нынче пообедай».
Услыхала Хасанагиница,
Обратилась к старшему из сватов:
«Старший сват, прошу я, ради бога,
Возле дома сделай остановку,
Чтоб могла я одарить сироток».
Кони стали у подворья аги,
Матушка одаривает деток:
Двум сыночкам — с золотом кинжалы,
Милым дочкам — дорогие сукна,
А дитяте малому послала
Одеяльце — колыбель закутать.

Это видит храбрый Хасан-ага,
И зовет он сыновей обратно:
«Возвратитесь, милые сиротки!
Злая мать не сжалится над вами,
Сердце у нее подобно камню».
Услыхала Хасанагиница,
Белой грудью на землю упала
И рассталась со своей душою
От печали по своим сиротам.

Пир у князя Лазаря

Славу славит Лазарь, князь могучий,
В граде сербском, Крушевце цветущем.
Вся господа за столы садится,
Вся господа вместе с сыновьями.
Справа посадили Юг-Богдана,
Рядом девять Юговичей юных,
Слева — Вука Бранковича место,
Всю господа сядят по порядку:
Против князя — воевода Милош,
Рядом с ним двух равных посадили,
Одного — Косанчича Ивана,
И Милана Топлицу другого.
Князь литую чашу поднимает,
Говорит своей господе сербской:
«За кого мне выпить чашу эту?
Если пить по старшинства седином,
Выпил бы вино за Юг-Богдана,
Если пить по благородству крови,
Выпил бы за Бранковича Вука,

Если пить по дружеской приязни,
За девятерых бы выпил шурьев,
Девять сыновей Богдана Юга,
Если пить по красоте обличья,
За Косанчича бы чашу выпил,
Если пить по высоте и росту,
Выпил бы за Топлицу Милана,
Если пить по храбрости безмерной,
Выпил бы вино за воеводу,
И сегодня за твое здоровье,
Милош Обилич, хочу я выпить:
Будь здоров и верный и неверный!
Прежде верный, а потом неверный!
Утром мне на Косове изменишь,
Убежишь к турецкому султану.
Будь здоров и за здоровье выпей,
Пей вино из чаши золоченой».
Встал поспешно легконогий Милош,
До земли черной поклонился:
«Я тебя благодарю, властитель,
Славный князь, за здравицу спасибо,
За нее и за твое даренье,
Но совсем не за слова такие.
Не был я предателем-злодеем,
Не был им и никогда не буду.
Поутру на Косовом на поле
Я погибну за Христову веру.
Враг сидит у твоего колена.
Пьет вино, своей полой прикрывшись,
Бранкович — предатель тот проклятый!
Завтра будет Видов день прекрасный,
Мы на Косовом увидим поле,

Кто предатель и кто верен князю.
И клянусь владыкою всевышним,
Поутру на Косово я выйду,
Заколю турецкого султана,
Придавлю ему ногою горло.
Если мне помогут бог и счастье,
В Крушевац вернусь я невредимым,
Я поймаю Бранковича Вука,
Привяжу его к копыю покрепче
(Так кудель привязывают к прялке),
Поташу его на поле битвы».

Молодая Милошевка и мать Юговичей

Милошевка юная сидела
В горнице прохладной и вязала.
Два прохожих стали у оконца,
Помощи ей божьей пожелали:
«Милошевка, бог тебе на помощь,
Для кого ты там рубашку вяжешь?
Вяжешь ли ее родному брату,
Своему ли вяжешь господину,
Милому ль рубашку вяжешь сыну?»
Милошевка им в ответ сказала:
«Бог спаси вас, путники, за ласку,
Что спросили, для кого вязанье.
Я вяжу рубашку не для мужа,
Я вяжу рубашку не для сына,
Я вяжу ее родному брату».
Путники ей тихо отвечали:
«Милошевка, не вяжи вязанья,

Брось рубашку: ни один из близких
Твоего вязанья не износит,
Выйди вон из горницы скорее,
Белый двор свой осмотри немедля,
Там найдешь ты головы любимых:
В первой — своего узнаешь мужа,
Во второй — единственного сына,
В третьей — брата своего родного».
Милошевка на ноги вскочила,
Бросила она свое вязанье,
Выбежала, бедная, из дома,
Но когда она на двор ступила,
Во дворе ей крови по колено,
И в крови той — головы любимых:
Первая — возлюбленного мужа,
А вторая — дорогого сына,
Третья голова — родного брата.
Замерла младая Милошевка
И не знает, как ей быть, что делать.
И от горя тут и от печали
Белые свои отсекла руки
И хотела оба ока вынуть.
Тут случилась древняя старушка,
Юг-Богдана милая вдовица,
И сказала Милошевке юной:
«Как ты, Милошевка, неразумна,
Для чего ты руки отрубила?
Большее перенесла я горе,
Юг-Богдан мой, господин любимый,
Девять милых сыновей имела,
Юговичей девять я растила,
Время всем пришло в поход собираться;

У кого есть сын — его собирает,
Кто бездетен — сам идет в отряды.
Господина старого Богдана,
И девятерых сынов любимых,
Юговичей милых снарядила,
В Косово пошли они на битву.
И немного времени минуло,
С поля Косова пришло посланье:
Старый муж мой пал в кровавой сече,
Девять милых сыновей погибли,
Девять пало Юговичей милых,
И остались девять снох на свете,
И у каждой-то снохи по внуку.
Как минула первая неделя,
Я взяла с собой вина две чаши,
Повела я девять снох с собою,
И на Косово пошли мы поле
Сыновей искать моих любимых.
Как на Косово пришла я поле,
Не нашла я там сыночков милых,
А нашла могил там черных девять,
У могил тех копыя в землю вбиты,
И привязаны у копий кони.
Ни овса не надо им, ни сена.
От могилы я иду к могиле,
Лью вино на них, а их целую».

Смерть матери Юговичей

Правый боже, чудо совершилось!
Как на Косово сходилось войско,

было в войске Юговичей девять
И отец их, Юг-Богдан, десятый.
Юговичей мать вызывает к богу,
Просит дать орлиные зеницы
И широкие лебяжьи крылья,
Чтоб взлететь над Косовым ей полем
И увидеть Юговичей девять
И десятого Богдана Юга.
То, о чем молила, получила:
Дал ей бог орлиные зеницы
И широкие лебяжьи крылья.
Вот летит она над полем ровным,
Видит девять Юговичей мертвых
И десятого Богдана Юга.
В головах у мертвых девять копий,
Девять соколов сидят на копьях,
Тут же девять скакунов ретивых,
Рядом с ними девять львов свирепых.
Огласилось поле львиным рыком,
Встал над полем клекот соколиный,
Сердце матери железным стало,
Не вопила мать и не рыдала.
Увела она коней ретивых,
Рядом с ними девять львов свирепых,
Девять соколов взяла с собою
И вернулась в дом свой белостенный.
Снохи издали ее узнали
И с поклоном старую встречали.
К небу вдовьи понеслись рыданья,
Огласили воздух причитанья,
Вслед за ними застонали кони,
Девять львов свирепых зарычали,

И раздался клекот соколиный.
Сердце матери железным стало,
Не вопила мать и не рыдала.
Наступила ночь, и ровно в полночь
Застонал гривастый конь Дамяна.
Мать жену Дамянову спросила:
«Ты скажи, сноха, жена Дамяна,
Что там стонет конь Дамяна верный,
Может быть, он захотел пшеницы
Иль воды студеной от Звечана?»
И жена Дамяна отвечает:
«Нет, свекровь моя и мать Дамяна,
Конь не хочет ни пшеницы белой,
Ни воды студеной от Звечана,
Был Дамяном этот конь приучен
До полуночи овсом кормиться,
Ровно в полночь в дальний путь пускаться.
Конь скорбит о смерти господина,
Без которого домой вернулся».
Сердце матери железным стало,
Не вопила мать и не рыдала.
Лишь лучами утро озарилось,
Прилетели два зловещих врана.
Кровью лоснятся вороны крылья,
Клювы пеной белою покрыты,
В клювах воронов — рука юнака,
На руке — колечко золотое.
Вот рука у матери в объятьях,
Юговичей мать схватила руку,
Повертела, зорко осмотрела
И жене Дамяновой сказала:
«Отвечай, сноха, жена Дамяна,

Не видала ль ты такую руку?»
Отвечает ей жена Дамяна:
«Мать Дамяна и свекровь, ты видишь
Руку сына своего Дамяна.
Я узнала перстень обручальный,
То кольцо, что при венчанье было».
Мать Дамянова схватила руку,
Осмотрела зорко, повертела
И, к руке приникнув, прошептала:
«Молодая яблонька родная,
Где росла ты, где тебя сорвали?
Ты росла в объятях материнских,
Сорвана на Косове равнинном».
Мать печально головой поникла,
И от горя разорвалось сердце,
От печали по сынам родимым
И по старому Богдану Югу.

Омер и Мейрима

По соседству двое подрастали,
Годовальными они сдружились,
Мальчик Омер, девочка Мейрима.
Было время Омеру жениться,
А Мейриме собираться замуж,
Но сказала сыну мать родная:
«Ах, мой Омер, матери кормилец!
Отыскала я тебе невесту,
Словно золото, Атлагича Фата».
Юный Омер матери ответил:
«Не хочу к ней свататься, родная,

Верность слову не хочу нарушить».
Отвечает мать ему на это:
«О мой Омер, матери кормилец,
О мой Омер, голубь белокрылый,
О мой Омер, есть тебе невеста —
Словно злато Атлагича Фата.
Птицей в клетке выросла девица,
Знать не знает, как растет пшеница,
Знать не знает, где деревьев корни,
Знать не знает, в чем мужская сила».
Юный Омер матери ответил:
«Не хочу я, матушка, жениться!
Крепкой клятвой я Мейрима клялся,
Будет верность слову крепче камня».
И ушел он в горницу под крышу,
Чтоб прекрасным сном себя утешить.
Собрала мать всех нарядных сватов,
Собрала их тысячу, не меньше,
И пустилась с ними за невестой.
Лишь Атлагича достигли дома,
Тотчас же их Фата увидала
И навстречу им из дома вышла,
Жениховой матери сказала,
С уваженьем ей целуя руку:
«О, скажи мне, мудрая старушка,
Что за полдень, коль не видно солнца,
Что за полночь, коль не виден месяц,
Что за сваты, коль не прибыл с ними
Юный Омер, мой жених прекрасный?»
А старуха отвечает Фате:
«Золото Атлагича, послушай!
Ты слыхала ль о лесах зеленых,

О живущей в чащах горной виде,
Что стреляет молодых красавцев?
За родного сына я боялась,
И его я дома задержала».
От зари до самого полудня
Там на славу сваты пировали,
А потом отправились обратно,
Взяли Фату Атлагича злато.
А подъехав к дому, у порога
Спешились вернувшиеся сваты,
Лишь невеста на коне осталась.
Говорит ей ласково старуха:
«Слезь на землю, доченька родная».
Отвечает золото-невеста:
«Не сойду я, мать моя, ей-богу,
Если Омер сам меня не примет
И на землю черную не снимет».
К Омеру старуха побежала,
Будит сына своего родного:
«Милый Омер, вниз сойди скорее
И прими там на руки невесту».
Юный Омер матери ответил:
«Не хочу я, матушка, жениться!
Крепкой клятвой я Мейриме клялся,
Будет верность слову крепче камня».
Сокрушенно сыну мать сказала:
«Ах, мой Омер, матери кормилец,
Если слушать мать свою не хочешь,
Проклян у я молоко из груди!»
Жалко стало Омеру старуху,
На ноги он встал и вниз спустился,
Золото он взял с седла руками,

Нежно принял и поставил наземь.
Полный ужин сваты получили,
Повенчали жениха с невестой
И свели их в горницу пустую.
На подушках растянулась Фата,
Омер в угол на сундук уселся,
Сам снимает он с себя одежду,
Сам на стену вешает оружие.
Застонало Атлагича злато,
Проклинает сватовство старухи:
«Старая, пусть бог тебя накажет:
С нелюбимым милое сдружила,
Разлучила милое с любимым!»
Отвечает юный парень Омер:
«Ты послушай, золото-невеста!
До рассвета помолчи, не дольше,
Пусть напьются до упаду сваты,
Пусть сестрицы водят хороводы!
Дай чернила и кусок бумаги,
Напишу я белое посланье».
Написал он белое посланье,
И сказал он золоту-невесте:
«Завтра утром, чтоб остаться правой,
Ты старухе дай мое посланье».
Лишь наутро утро засияло,
Новобрачных мать будить явилась,
Постучала в дверь опочивальни.
Плачет, кличет золото невеста,
Проклинает замыслы старухи,
Но старуха удивленно молвит:
«О мой Омер, матери кормилец,
Что ты сделал? Быть тебе безродным!»

Дверь открыла и остолбенела,
Недвижимым видит тело сына.
Люто воев в горести старуха,
Проклинает золото-невесту.
«Что ты с милым сыном натворила?
Как сгубила? Быть тебе безродной!»
Отвечает золото-невеста:
«Проклинаешь ты меня напрасно!
Он оставил белое посланье,
Чтоб ты знала правоту невесты!»
Мать читает белое посланье,
Горько слезы льет она, читая.
Ей посланье так проговорило:
«Облачите в тонкую рубаху,
Что Мейрима в знак любви дала мне!
Повяжите шелковый платочек,
Что Мейрима в знак любви связала!
Положите на меня бессмертник,
Украшала им меня Мейрима.
Соберите парней неженатых,
Соберите девок незамужних,
Чтобы парни гроб несли к могиле,
Чтобы девки громко причитали.
Через город пронесите тело,
Мимо дома белого Мейримы.
Пусть целует мертвого Мейрима,
Ведь любить ей не пришлось живого».
А как мимо тело проносили,
Вышивала девушка Мейрима,
У окна открытого сидела.
Вдруг две розы на нее упали,
А иголка выпала из пальцев.

К ней меньшая подошла сестрица.
Говорит ей девушка Мейрима:
«Бог помилуй, милая сестрица!
Дал бы бог нам, чтоб не стало худо.
Мне на пальцы две упали розы,
А иголка выпала из пальцев».
Тихо отвечает ей сестрица:
«Дорогая, пусть господь поможет,
Чтобы вечно не было худого,
Нынче ночью твой жених женился;
Он другую любит, клятв не помнит».
Застонала девушка Мейрима
И хрустальную иглу сломала,
Золотые нити свились в узел.
Быстро встала на ноги Мейрима,
Побежала, бедная, к воротам,
Из ворот на улицу взглянула,
Омера несут там на носилках,
Мимо дома гроб несли неспешно,
Попросила девушка Мейрима:
«Ради бога, други молодые,
Плакальщицы, юные девицы,
Опустите мертвого на землю,
Обниму его и поцелую,
Ведь любить мне не пришлось живого!»
Согласились парни молодые,
Опустили мертвого на землю.
Только трижды крикнула Мейрима
И из тела душу отпустила.
А пока ему могилу рыли,
Гроб Мейрима тут же сколотили,
Их в одной могиле схоронили,

Яблоко им положили в руки.
Лишь немного времени минуло,
Поднялся высоким дубом Омер,
Тоненькою сосенкой — Мейрима.
Сосенка обвила дуб высокий,
Как бессмертник шелковая нитка.

Бранко Радичевич

(1824—1853)

Бедная возлюбленная

Ветер веет,
Липа млеет,
 Как тогда.

Речки
Журчанье,
Леса
Молчанье,
 Как тогда.

Я — молодая,
Здесь ожидаю.
 Как тогда.

Солнце заходит,
Друг не приходит,
 Как тогда.

Солнца другого
Нет дорогого...

Вечера, как сладко ожиданье,
О вы, ночи, светлых дней светлее,
А над вами два светили солнца,
Где же вы?.. Где друг мой ненаглядный?
Плачут травы, птица запекает,
Золото мое земля скрывает...

Боже, порази грозою сушу,
Громом бей в мою живую душу!
Друга у меня взяла могила,
Ничего на свете мне не мило.

Перед смертью

Листья желтые слетают с веток,
Листья желтые летят все ниже...
Я зеленых листьев напоследок
Не увижу!
Голова поникла, будто с горя,
Слепну, слепну от жестокой хвори,
Руки ослабели, страждет тело,
И лицо поблекло, потемнело, —
Видно, срок приходит лечь в могилу!

Жизнь, прости, прощай, мой сон прекрасный,
И заря, прости, и день мой ясный!
Предо мной рубеж иного края...
О, прости, краса земного рая!
Если б не любил тебя так жарко,
Долго б видел я, как солнце ярко,
Слушал грозы над ночной долиной,

Упивался песней соловьиной,
Нашей речью, что ручьем сверкает...
Но источник жизни иссякает!

Песни вы мои, моя отрада,
Юных лет возлюбленные чада,
С неба радугу я снять хотел бы,
В радугу вас ярко разодел бы,
Звезды б рассыпал на вас ночами,
Солнечными бы венчал лучами...
Радуга зажглась и отблистала,
Звезды пламенели — звезд не стало,
Даже солнце среди дня померкло,
Даже солнышко меня отвергло.
Все исчезло, что люблю и славлю,
И в лохмотьях я сирот оставлю...

Гойко

Эй, ко мне скорее, гусли-други,
Натяну вас туго на досуге,
Натяну вас, заиграю лихо,
Чтоб на сердце снова стало тихо,
Чтобы снова я увидел счастье, —
Чудо, не разбитое на части.

И заря чиста, и солнце ясно,
Лес зеленый и поля прекрасны,
Милы мне цветы и ключ прохладный,
И дитя мое, мой луч отрадней,
Лишь в глаза твои я гляну снова, —

Вспыхнет в сердце песенное слово.
Ты, земля, мила мне бесконечно.
Дивно сотворил тебя предвечный!
Только бы пожить еще немного,
Но пора в последнюю дорогу,
Смертный час пробьет мой скоро, скоро,
Светлый мир сокроется от взора.

Гусли упадут из рук остылых,
Но что пел я — будет людям мило,
И пока душа к душе стремится
И народ за чашей веселится,
Будет песня для него отрадой, —
Ничего мне больше и не надо!

Йован Йованович-Змай

(1833—1904)

Розы

XIX

Навсегда мои заветы
Сбереги в груди:
Раз ты сербка, так по-сербски
На меня гляди!

Наша жизнь — деревьев купа,
Серый соловей...
Под ветвями провели мы
Много милых дней.

Но и в дереве гнездятся
Черви под корой,
И мне часто, слишком часто
Снятся кровь и бой.

Каждый день внезапно может
Час ударить нам —
На отраду для героев
И на страх врагам.

Встанет день освобожденья
В грохоте огня,
И на битву не придется
Дважды звать меня.

Ты мила мне, ты верна мне,
Но тогда забудь
Поцелуй и объятия,
Нежащие грудь.

И когда прольют за волю
Сербы кровь свою,
Не жалея, жена, погибших
В яростном бою!

Верь мне, что достойно серба
Умереть смогу.
Дай мне сына, чтоб отмстил он
За меня врагу.

XX

В твоем я взгляде вижу:
В тоске ты ждешь меня,
И вот тебе фиалку
Принес сегодня я.

Она скромна, но запах,
Что льет душа ее,
Приносит людям радость,
А радость песнь поет.

Прими же песню эту,
Рожденную вчера,
Ведь маленькая песня —
Фиалкина сестра.

XXII

Я пришел к тебе, чтоб зори
Запылали, заблистали,
Но, увы, напрасно! Сердце
Отравилось сном печали.

Не протягивай мне руку
На разлуку эту злую,
Усмири тревогу сердца,
Позабудь меня, прошу я.

Я не пролил слез ни разу,
Хоть сдержать и нелегко их...
Эти слезы, словно реки,
Поглотили нас обоих.

Не протягивай мне руку!
Молода ты и невинна,
А ко мне близки минуты
Ночи горестной и длинной.

Из глубин кромешных ада
Заклубится дым сомненья,
Страшно мне любовь и совесть
Вдруг увидеть в униженье.

В этом мраке беспредельном
И к тебе придет страданье,
Никогда еще мрачнее
Не было повествованья,

Чем мое, где я поведал,
Как вся жизнь полна отравы...
О, душа твоя невинна!
Сохрани нас, боже правый!

XXVIII

Ничего, любовь, ты не забыла,
Иль ты лжешь, иль это так и было.
Слушай, друг мой нежный, сказки эти,
Ты одна поверишь мне на свете...

В древнем веке в дали беспросветной,
В облаке, лучом не озаренном,
Пепельном, неясном, отдаленном, —
Так теперь я верю беззаветно —

Жили мы с тобою двое,
Две души в любовном зное,
И не ведали покоя,
И томились мы любовной жадью,
А любовь росла с минутой каждой,
И печаль росла в воздушном теле,
Но друг друга мы обнять не смели, —
И печали власть,
И стремленья страсть
В домовине под землей истлели.

А могилы наши разделила злота.
Душно было нам под мрачным сводом гроба!
Годы возникали, годы угасали,
Но не гасла в пепле искорка печали.
Наконец и богу это надоело —
Он с постели поднял нас оледенелой,
Чтоб мир холодный обогреть,
Чтоб этот мир увидел вновь
И понял он, какой была
Та несравненная любовь.

XXIX

Мне б твою увидеть руку!
Все мне в ней до боли мило,
И так много роз прекрасных
Вкруг меня она взрастила.

Дай руки твоей коснуться...
В час, когда мой ум мутнеет,
Мне под ласковой рукою
Отдыха прохлада веет.

И когда почует сердце
Смерти злой прикосновенье,
Руку ту сожму я сильно —
И настанет исцеленье.

XXXIX

Как твои нарядны сваты,
Мать несет убор богатый,
А у мужа что взяла ты?

Пусть я многих неизвестней,
Я на грудь, что всех прелестней,
Душу изливаю песней.

Звуки сладостные — где вы?
Молкнут все мои напевы
Перед ликом сербской девы.

XLII

Как этот мир
 Дивно широк,
Там розы цвет,
 А здесь поток.
Там нивы блеск,
 Здесь светлый сад,
То солнца жар,
 То лютый хлад.
В золоте весь
 Дунай течет,
Там зелень трав,
 Жасмин цветет!
Там соловья
 Слышится песнь,
Моя душа
 С твоею здесь.

Увядшие розы

XXXVI

В сердце, что оледенили
За утратою утрата,
Два мне сокола остались,
Два цветам подобных брата.

Не обман ли все на свете?
Бранко мне залечит рану.
Не обман ли все на свете?
Я цветком гордиться стану.

Не обман ли все на свете?
Как горька моя утрата!
Не прошло еще недели —
Спят в могиле оба брата.

XXXVIII

В детстве над моей родною кровлей
Белых голубей кружилась стая,
А вокруг товарищи резвились, —
Их любил я, сам того не зная.

В молодости, на рассвете жизни,
Был я полон чистоты и силы,
С милыми душе моей дружил я,
Дорогими сердцу до могилы.

В зрелости — желаний исполненье.
К счастью путь восходит по спирали.
И тогда еще друзей имел я
Тех, что заживо не умирали.

Дивные часы, объятья милых,
Вздых надежды, дружбы песнь святая
Из кадилниц молодости нашей
К небесам неслись, благоухая.

А теперь печаль на все спустилась,
Омрачила радостные вести,
Редко кто зайдет меня проведать,
Чтобы о былом поплакать вместе.

Светлой памяти друзей умерших
Долг сполна я заплатить не в силах,
Но никто не смеет помешать мне
Чтить друзей, что мирно спят в могилах.

XL

С лепестков росистый жемчуг
Солнце утром собирает,
День угаснет, ночь настанет,
И роса опять сияет.

Солнце вновь росу осушит,
Вновь блеснет роса ночная.
И сегодня так, и завтра,
Что ни ночь — роса иная.

Наконец устало солнце.
А роса не утомилась...
Солнце поняло, какая
В лепестках роса искрилась.

XLII

Даже радость входит,
Злую тень тая,
Под любую розой
Кроется змея.

За минуту счастья
Ожидает м е с т ь, —
Грозное проклятье
И в блаженстве есть.

Горе нам: в прекрасный
Полный счастья час
Призраки и змеи
Окружают нас.

XLIV

Мне — безрадостное небо,
Солнце, что в туман садится,
Мне — цветы мои, затем что
Им не надо веселиться.

Мне — трава в садах вечерних,
Вся она в слезах блестящих,

Звезды, гаснущие в небе,
Тихий мир созданий спящих.

Мне — в лесу глухом тропинки,
Где один по ним иду я,
Мне — темнеющая чаща,
Никого здесь не найду я.

Гибель мира предвещая,
Бор шумит, но ясно слышим,
Как друг другу шепчут листья:
«Мы живем, мы вольно дышим!»

XLVII

Ставят памятники мертвым
Из гранита, из металла,
Чтобы память дольше длилась,
Чтоб могила не пропала.

Люди к этому привыкли,
Я людей не осуждаю,
Только я своих усопших
В сердце верном воскрешаю.

Там могила, но над нею
Возвожу я милым храмы...
Там могила, но над нею
Чистой скорби фимиамы.

Я умру, и боль погаснет,
Но над прахом плющ зеленый
Будет жить, быть может, дольше,
Чем надгробный крест с иконой.

LI

Из чего ты, боже, вздумал наше сердце сотворить? —
Поначалу хлынет счастье, чтобы сердце утомить,
И с неслышанною мощью черным жжет его огнем.
Но еще не гибнет сила в нем.

А потом приходят муки, лед и стужа без конца,
Но тоску преодолевают наши стойкие сердца,
Окружают сердце тени многих горестных могил,
Все же сердце не теряет сил.

Но пройдут года, и сердце станет кладбищем навек,
Даже это переносит человек.
Вот еще доска, вот камень, и на камне имена
Тех, с кем я и пел и плакал, кем душа была полна,

Самых близких, без которых я не мог прожить и дня,
Тех, которые живыми остаются для меня.

LVII

Если близких провожаем,
Мы перед порогом
Руку им дадим и скажем:
«До свиданья, с богом!»

Те слова благой надежды
С уст легко слетают...
А свершится, не свершится —
Разве люди знают?

Но когда несем к могиле
Гроб в молчанье строгом,
Разве мы сказать не можем:
«До свиданья, с богом!»

LIX

«Видишь ли звезду на небе? —
Говорила астроном н е , —
Сохнет мозг, определяя
Расстоянье в вышине.

Далеко она, высоко.
Сотню долгих, долгих лет
Мчится от нее на землю
Синевато-желтый свет.

Очарованы мерцаньем,
Мы следим за ней всегда,
А ее уж, может, нету...
Веришь мне?» — «Конечно, да!

Оттого, что часто ночью
Слышу вдруг со всех сторон
Голоса мне дорогие,
Проникающие в сон.

Вижу я глаза любимой,
Излучающие свет...
Я их вижу, вижу, вижу —
А ее на свете нет».

LXIII

Ах, индиго, сурик, охра —
Эти краски слишком слабы!
Были б слезы разноцветны,
Рисовать я стал тогда бы.

Я писал бы на картинах
Все, что взор увеселяет:
Как сияет в небе месяц,
Как под ним звезда мерцает,

Как встает из дали солнце,
Как румяны утром зори,
Как корабль плывет неспешно
По сапфирной глади моря,

Как цветут красиво розы,
Как взлетают в небо птицы,
Как невест ласкает счастье,
Как весной сияют лица.

Я б картины эти миру
Дал скорей, чем песни, сказки,
Но от всех я утаил бы,
Где добыты эти краски.

LXV

Я цветы любил когда-то
Более всего на свете,
Но теперь я убедился:
Мне всего милее дети.

В детях есть зерно святое,
В них грядущее таится.
Был бы мир гораздо лучше,
Если б дал ему развиться.

В души детские гляжу я,
Их пленяясь чистотою,
Их паденья не увижу —
Раньше я глаза закрою.

LXVII

Из истерзанного сердца,
Не из глаз упали слезы,
И теперь рососою стали
В лепестках увядшей розы.

Ночь прошла, и утром рано
Солнце радостное встало,
И лучи поют, сверкая:
«Мы хотим, чтоб слез не стало».

Снова ночь, и вновь слезами
Эта роза заблестала,
Утром вновь лучи запели:
«Мы хотим, чтоб слез не стало».

Это было долгим летом,
Солнце слезы осушило,
Но зима сменила осень,
Вьюга в поле закружила,

И метель, найдя в засохших
Лепестках погибшей розы
Капли слез, спокойно молвит:
«Леденеют эти слезы!»

И когда замерзли росы,
Прелесть розы отблестала,
Перестала роза плакать,
Сердце биться перестало.

LXVIII

Не один, поверь, страдаешь
Ты по воле рока.
Много есть на свете горя
Близко и далеко.

Льется песня, как надежда,
В брызгах водопада,
Ей в пучине общей боли
Раствориться надо.

LXIX

Ты мне сказать хотела,
Но, видно, не смогла.

Устам заолодевшим
Слезинка помогла.

Когда я стер слезинку,
Вглядысь в твои черты,
Я понял: гибель Смильки
Предчувствуешь и ты.

И в блеске той слезинки
Я угадал, груст я, —
Надежды юной сербки
На малое дитя.

Ты мне сказать хотела:
«Когда для Смильки ночь...»
Я понял, слишком понял —
Умрет малютка-дочь.

Не зря слеза скатилась
Из материнских глаз —
Наш свет, дочурку нашу,
Господь унес у нас.

И часто голос дочки
Мне слышится во сне:
«Люби малюток сербских
Как память обо мне».

И я, почти утешен,
Бреду в глубинах сна,
И ночь моих печалей
Уже не так темна.

Мне снится — сад чудесный
Вокруг меня возник,
И рву цветы в саду я,
Измученный старик.

И я в свои объятья
Принять весь мир готов,
Когда плету для мертвых
Венок из ноготков.

Десанка Максимович

(род. в 1898 г.)

* *

*

Снится мне — придешь ты:

потому что ночью светел сумрак зыбкий,
потому что утром все цветы лучатся,
потому что небо светится от счастья
и блестят, играют на воде улыбки,

потому что почки на ветвях согреты
и раскрылись листья в радостном смятенье,
потому что бредят о любви растенья
и в саду плодовом блещет снег расцвета,

потому что воздух замер в ожиданье
и оделась пышно для тебя природа.
Яблони, туманы, и цветы, и воды
в трепетном томленьи ждут с тобой свиданья.

О, приди! Тебя я звать все жарче буду.
Все кругом тобою, лишь тобою бредит,
все тебя улыбкой несравненной встретит,
и мое томленьи ты заметишь всюду.

Страх

О, не приближайся. Только издалека
хочется любить мне свет очей твоих.
Счастье в ожиданье дивно и высоко,
если есть намеки, счастье только в них.

О, не приближайся. Есть очарованье
в сладостном томленьи страха и мечты.
То, чего ты ищешь, лучше в ожиданье,
лучше то, что знаешь из предчувствий ты.

Нет, не приближайся. И зачем нам это?
Все лишь издалека светит, как звезда,
все лишь издалека радостью согрето,
нет, не сблизим лучше взоры никогда.

Зимним днем

Снег тихо до самого вечера падал,
как яблони цвет.
О, я улетела б с такою отрадой
сквозь дали пространства и лет;
куда-то меж снежными лепестками,
как легкий летит мотылек,
кого-то утешить такими словами,
какие другим невдомек.

И в сумерках снег так же медленно падал,
усталый, густой.
Мне встретить кого-то

такая отрада...
Ни тени в долине пустой!
И ночью весь мир, словно в белых тенетах,
снежинки ложатся у ног.
Как больно следить непрерывный полет их,
когда человек одинок.

Счастье

Я время по часам не отмечаю,
по ходу солнца не считаю срока,
заря встает — когда его встречаю,
и снова ночь, когда он вновь далеко.

И смех не мера счастья. Не хочу я
знать, чье сильней и тягостней томленье.
Есть счастье в грусти: вместе с ним молчу я,
и слышно двух сердец одно биенье.

И мне не жаль ветвей моих весенних,
что будут смыты жизни водопадом.
Пусть молодость уходит легкой тенью:
он, зачарованный, со мною рядом!

Вечер

На горном склоне овцы мирно спят,
они спокойны, как воспоминанье,
а ели в золотистом одеянье,
и облачные стяги их хранят.

Беззвучнее, чем вечер входит в дом,
в меня уже вошли покоя тени,
как книгу, руки бросив на колени,
смотрю на луг, замороженный сном.

О, если б мне воспоминаньем стать,
иль лугом, или тем нагорным стадом
и успокоиться, как тень за садом,
чтоб сердцу молодому не страдать.

Заснуть бы мне, как стаду на горах,
и стать спокойной, как воспоминанье,
пусть будет мирным елей колыханье
и небо в тонких стягах-облаках.

Усталость

Довольно жизни!
Мне знакома, как село родное,
как напев, похожий на стенанье,
эта жизнь. Из глаз ушло сиянье,
взгляд мой светит мертвою луною.

Мне боль знакома,
словно девушке скамейка, где, бывало,
с милым обнималась под березой.
Жизнь моя — полет листвы увялой,
да тоска бессонницы,
да слезы.

Любви не надо.
Знаю черные ее провалы,
боль, печаль и все, что было прежде.
Ни дождю, ни солнцу, ни надежде
я не верю... Я идти устала,
я устала улыбаться.

Довольно жизни.
Жизнь была с пустою миской схожа
перед голодным в нищем одеянье.
Пусть бесстрастно меч рассудит божий
помыслы мои, мои деянья.

Фран Левстик

(1831—1887)

Король-беглец

Ночь темна. Безмолвен лес дремучий.
На коне король сквозь чащу мчится.
Войско, земли отнял враг могучий,
И король, как зверь, в лесу таится.
Ни жены, ни дочерей, ни сына...
Горькие, кровавые потери!
Всюду перед ним закрыты двери,
Верной свиты нет у властелина.

Лес угрюмый все черней и глуше.
Не найти путей в чашобе тесной.
Конь заржал, настороживши уши, —
Он увидел, что пред ними бездна.
Не поймет король его смятенья.
Спешась, привязал коня под елью,
Скинул плащ, что стал ему постелью,
И уснул беглец в одно мгновение.

Вьются сны над головой усталой...
Пиршественный зал красив на диво,
И король с гостями, как бывало,
Там сидит, спокойный и счастливый.

Настежь двери в светлые покои,
Своды позолотою сверкают.
Издалека слышно, как шагает
Стража за дворцовою стеною.

Громко барабаны загремели,
Затрубили трубы песнь похода,
Близко-близко шпоры зазвенели —
То идут герои-воеводы.
И недавний в р а г , — чернее т у ч и , —
Чужеземный князь идет с дружиной, —
Он предстал пред королем с повинной,
Отдал королю свой меч могучий.

Громко трубы затрубили с н о в а , —
Видит королеву он со свитой,
Дочерей и сына дорогого,
Окруженных знатью родовитой.
Гости, славя короля, кричали:
«Да хранит господь твою державу,
Счастье рода твоего и славу!»
Эхо не смолкает в дальнем зале.

Спящий прошептал: «Я вновь на троне!
Боже, наконец-то я проснулся,
Снилось мне, что прячусь от погони...»
Он во сне к родным своим рванулся
И упал с обрыва в ров бездонный,
По камням гремя броней железной...
Конь дрожит, копытом бьет над бездной,
И, слетаясь, каркают вороны.

Часы

Звон минут всеильный
Вьет венок могильный
Из цветущих дней.
Все, что год из года
Создает природа,
Смерть возьмет у ней.

Вам, часы, от века
Время человека
Мерить в маете!
Осень — вслед за летом,
Вянет цвет за цветом,
Мы уже не те.

Если счастье наше
Пьем из полной чаши —
Ваш поспешен бег.
Если жить нет мочи —
Медлите, пророча
Нам печаль навек.

Смерч по вашей воле
Губит злаки в поле —
Голодай, бедняк!
Коль морские недра
Вздыбятся от ветра —
Вас клянет моряк.

Гибнущим в разврате
Ваш удар проклятье

Прогремит, грозя.
Ни рабам, ни барам
Под таким ударом
Устоять нельзя.

Грех вины жестокой
До поры, до срока
В глуби сердца скрыт,
Но настанет время —
Ваш язык пред всеми
Тайну разгласит.

Вам присуща сила
Мертвых из могилы
В полночь поднимать,
Чтоб с лучом восхода
Гробовые своды
Скрыли их опять.

Звон минут всеильный
Вьет венки могильный
Из цветущих дней.
Нашей брэнной плоти
Скоро час пробьете,
И простимся с ней.

Тот же звон над нами,
Но в могильной яме
Наш не внемлет слух.
Звук последний тает,
Он и обвенчает
Снова с телом дух.

Симон Енко

(1835—1869)

Из цикла «Картины»

XIII

Юная березка
Выросла средь бора,
И ему был чуждым
Блеск ее убора.

В плен взята навеки
Темными стволами.
Землю устилает
Вихрь ее листьями.

В березняк их гонит,
Гонит к рощам пестрым —
Пусть об одинокой
Порасскажут сестрам.

XX

Девушка весь вечер
У окна мечтала,

Чтоб луна над миром
Тихо засияла.

— Милый твой с другою
В чистом поле ходит,
За руку подругу
По тропинке водит.

Так луна сказала
И исчезла в тучах,
Чтобы слез не видеть
Девичьих горячих.

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ

Михаил Эминеску

(1850—1889)

Венера и Мадонна

Идеал, навек погибший в бездне сгнувшего мира,
Мира, мыслившего песней, говорившего в стихах,
О, тебя я вижу, слышу, мысль твоя звучит, как лира,
И поэт она о небе, рае, звездах и богах.

О Венера, мрамор теплый, очи, блещущие тайной,
Руки нежные — их создал юный царственный поэт.
Ты была обожествленьем красоты необычайной,
Красоты, что и сегодня излучает яркий свет.

Рафаэль, в мечтах паривший над луной и облаками,
Тот, кто сердцем возносился к нескончаемой весне,
На тебя взглянув, увидел светлый рай с его садами
И тебя средь херувимов и запредельной тишине.

На пустом холсте художник создал лик богини света,
В звездном венчике с улыбкой девственной и неземной,
Дивный лик, сиянья полный, херувим и дева эта,
Дева — ангелов прообраз лучезарною красотой;

Так и я, плененный ночью волшебства и вдохновенья,
Превратил твой лик бездушный, твой жестокий злобный лик,
В образ ангелоподобный, в ласку светлого мгновенья,
Чтобы в жизни опустелой счастья нежный луч возник.

Опьяненью предаваясь, ты больной и бледной стала,
От укусов злых порока рот поблек и посинел,
Но набросил на блудницу я искусства покрывало,
И мгновенно тусклый образ, как безгрешный, заблестел.

Отдал я тебе богатство — луч, струящий свет волшебный
Вкруг чела непостижимой херувимской красоты,
Превратил в святую беса, пьяный хохот — в гимн
хвалебный,
И уже не взглядом наглым — звездным оком смотришь ты.

Но теперь покров спадает, от мечтаний пробуждая,
Разбудил меня, о демон, губ твоих смертельный лед.
Я гляжу на облик страшный, и любовь моя простая
Учит мудро равнодушью и к презрению зовет.

Ты бесстыдная вакханка, ты коварно завладела
Миртом свежим и душистым осиянного венца,
Девы благостно прекрасной, чистой и душой и телом,
А сама ты сладострастье, исступленье без конца.

Рафаэль когда-то создал лик мадонны вдохновенной,
На венце которой вечно звезды яркие горят, —
Так и я обожествляю образ женщины презренной,
Сердце чье — мертвящий холод, а душа — палящий яд.

О дитя мое, ты плачешь с горькой нежностью во взоре —
Это сердце можешь снова ты заставить полюбить,

Я гляжу в глаза большие и бездонные, как море,
Руки я твои целую и молю меня простить.

Вытри слезы! Обвиненье тяжким и напрасным было.
Если даже ты и демон, обеславленный молвой,
То любовь тебя в святую, в ангела преобразила.
Я люблю тебя, мой демон с белокурой головой.

Александрю Тома

(1875—1954)

Скиталец

Когда в твои шатры приходит гость,
Встречай добром: ему дай хлеба, соли,
На раны воду лей, спасай от боли,
Но ты его расспрашивать не смей,
Куда идет, явился он отколе.

Зачем тебе о месте слышать том,
Что, верно, скрыли времени туманы...
Где он познал бесчестье и обманы...
Твоим словам не надо растревлять
Целимые твоей водою раны.

И для чего напоминать ему
О призраке какой-то страшной цели,
Он тащится и так уж еле-еле,
Пустыня за плечом, надежды нет,
И силы нет в кровотокающем теле.

Так дай же гостю хлеба и воды,
Скиталец он бездомный и гонимый.
Не спрашивай и лист, летящий мимо,
О ветке, на которой он блистал,
И о судьбе его неотвратимой.

Тудор Аргези

(род. в 1880 г.)

Доброе утро, весна!

Весна! Ты с моею родимой страной
Встречаешься будто с сестрицей-весною:
Ты юная вечно, она — молодеет,
В своих перекрестках зеленых свежеет.
Погодою тихой, безмолвным приветом
Встречает тебя, озаренная светом,
Встречает тебя по-иному, чем прежде,
В почти паутинной, тончайшей одежде,
Расшитой колосьями, маком снотворным,
Расшитой плющом молодым и проворным,
В душистых цветах, в васильковых узорах
Встречает тебя на зеленых просторах...
У ней на плече для сестры ненаглядной
Кувшин с ключевой водою прохладной.
Она угощает сестру дорогую
Водичей, что сластнее поцелуя.

Минувшие годы тебя здесь поили
Слезами и кровью, отравой бессилья.
Был мечен твой памятный путь не цветами, —
Он мечен могилами был и крестами.

Весна вечно юная, дай же навечно
Сестре своей руку в день встречи сердечной.
В преддверье надежды, в канун возрождения
Встречаетесь вы — две весны, два цветенья.

Потерянные листья

Уж полстолетья ты тревожишь неустанно
Чернила и слова; перо томишь в руках,
И все ж, как и тогда, победы нет желанной:
Они всегда с тобой — сомнение и страх.

И для тебя опять как тягостная мука
Страница белая и вид строки твоей,
И первого в душе опять боишься звука,
И буквы для тебя опять всего страшней.

Когда же вновь листки исписаны тобою,
Они уже летят поверх озерных вод,
Летят из сада прочь, как листья под грозою,
Так что и персик сам их проглядел уход.

И в каждом слове ты вновь чувствуешь содроганье,
Сомненье горькое чернит твои мечты,
Живешь ты, как во сне, в своих воспоминаньях.
Кто диктовал тебе — уже не знаешь ты.

Перекресток

Как средь лиственных факелов летом,
Солнце пусть на душе пробудится,
И пронзит меня праздничным светом,
И качнет в колыбели, как птицу.

Пусть роса увлажнит мои травы,
Миром их умастит благовонным,
Аромат его чистый на славу
Пусть омоет их ветром влюбленным.

Дождь, разрушил я плоть мою — землю,
Что из зерен пробилась сквозь землю.

Ель, сомкни поскорей свои корни —
Пусть не будет счастливее братства.
Пусть не будет смолы чудотворней
Смол тепла моего и богатства.

Не щади меня. Я без страха,
Я спокойно пойду к вам в неволю.
Мотылек, ты сотки мне рубаху,
Скрой от лунных лучей меня, поле.

Что со мною? О, долго еще мне
Через реки и горы влачиться?
Нет. Мое существо все огромней,
Дайте срок — и оно возродится.

О чем грустить?

В прекрасной осени печали нету места...
Мой домик как букет, что в храм несет невеста.
В окне — листва плюща, соцветия глициний,
И днем в мое окно с небесной мирной сини
Шлет солнце дробный свет — он здесь гостит
подолгу,

С предмета на предмет скользящий втихомолку,
И в бликах теневых дрожит легко и зыбко
Венчанья иль крестин невинная улыбка.
О чем грустить, когда сквозь этот свет безмолвный,
Как лодка, жизнь моя скользит легко и ровно?
Я вижу кипы книг, столь близких мне и милых,
И новой жизни цвет могучий на могилах.
Я вижу, как с ветвей лист за листом слетает,
Их серебрит луна, а иней разъедает.
Когда же голуби спускаются на крышу,
Я голоса любви в их воркованье слышу.
Со мною сонмы звезд — весь небосвод поныне
Раскинут наверху, как яркий хвост павлиний.
И одиночества тоска со мной, усталым,
Неслышно рядом спит, накрывшись покрывалом,
И шепчет мне она в разрывах сна мгновенных:
«Ты все еще со мной? Ты здесь? Ты в тех же стенах?»
К чему стыдиться мне и ей к чему стыдиться,
Что ото всех других она со мной таится?
О чем же мне грустить? О том ли, что из глины
Звучаньем скрипок я не обжигал кувшины?
А drankой крытый дом, мой дом, с букетом схожий,
Близ Тротуша * стоит. О чем грустить? И все же...

¹ Т р о т у ш — река в Румынии.

Плѣмпале *

Протяжно чья-то песнь с балкона понеслась,
Неведомо когда она там родилась.
Сначала легкая, как шелковый пушок,
Но вот ее напев на мир вечерний лег,
На весь притихший сад, на листья, на стволы,
Чтоб муки исцелять под нежной дымкой мглы.
И слышит тишина ту песню сквозь туман —
В ней врачевание кровотокащих ран.
Звук разветвляется, и эха слышен бег,
И сыплется с ветвей лиловый пышный снег.
Звучащие стихи, где в каждом спит цветок,
Что льнет к другим цветам, как будто к слогу слог!
И в старости мне вновь слова спешат помочь,
Подняться я хочу, отбросить посох прочь.
Страданий океан под радостью живой,
Как небо после гроз, меняет облик свой.
В сегодняшнем встает минувшее опять —
Как в песне той, стихам все вновь и вновь звучать.

Набросок

Скрипач, брось скрипку, мне ее не надо,
И вздохам тем душа моя не рада.
Мне звуки флейты задают вопросы,
И тягостен их хор многоголосый,
Я на вопросы отвечать не в силах —
Пусть прошлое покоится в могилах.

* Один из районов Женевы, где жил Т. Аргези.

Сwirели, наи, трубы сладкогласны,
Но в их звучанье слышен стон неясный.

Молчите, ветры, воды, и криницы,
Как будто вы не были, а небылицы.
Пруд, зеркало свое забудь и тени,
Что промелькнули в нем, как ряд видений.
А если б я услышал отзвук дальний,
То стал бы дух мой горше и печальней.
В свинцовый саван призраки одеты,
И мне невыносимы их приветы,
И мне невыносимы их упреки.
Что ж не смолкаешь ты, смычок жестокий?

Вечерняя песня

Как на флейте и на скрипке людям я играл, бывало,
Чтобы жизнь со мной мирилась и меня не забывала!
И свирелью первой стебель был пшеницы рыжеватой.
Плыли свадебные песни над просторами земли.
Но однажды в волнах речек, в наводнения раскатах
Песнь заглохла, чтоб я слышал, как летели журавли.
Каждый вечер я томился пенья страстную тревогой,
Преклонив свои колени, очи к звездам возводил,
В униженье и печали у вселенной, как у бога,
Новых песен, новых звуков, полный трепета, просил.

Руки к небу воздевая, на колени встав покорно,
Я молился (так, наверно, втайне молится скала),
Чтобы песнь ко мне вернулась, чтобы снова ночью черной
В сны мои она проникла и всегда со мной была.

И за это мне, мальчонке, целовали руку деда,
Что от струн я отрываю, словно праздную победу.
И меня за это часто хороводы окружали,
Словно волны, что играют под лучами маяка.
И меня в долинах звонких парни стройные венчали
И лавровыми венками, и листвою дубняка.

О, когда б вечерней дойне жить подольше в этом мире!
О, когда бы новым струнам вечно рокотать в эфире!

Неизвестному поэту

Возводишь ты алтарь, что был в твоих мечтах.
Не призрачен ли он? Не разлетится ль в прах?
В тот миг, как тормошить ты души словом стал,
Навеки клятвой той судьбу свою связал.
Велишь ты звездам петь, людей возносишь ввысь.
Тщеславье позабудь и дара не страшись.
Нельзя шутить с огнем, коль стал писать стихи:
Пусть много в книге слов — не меньше шелухи.
Им красок новизну и свежесть подари,
По-новому они заблещут изнутри.

Проклятье над тобой век будет нависать,
Пока строитель ты, все волен выбирать.
Но чтоб алтарь стоял у бездны на краю,
В фундамент заложи свой дух и жизнь свою.

ИЗ НОРВЕЖСКОЙ ПОЭЗИИ

Генрик Ибсен

(1828—1906)

Светобоязнь

Когда ходил я в школу,
был смел до тех лишь пор,
покуда день веселый
не мерк в вершинах гор.

Но лишь ночные тени
ложились на поля,
ужасные виденья
толпились вокруг меня.

Дремота взор смежала —
и сразу же тогда
вся храбрость исчезала
неведомо куда.

Теперь беда иная:
мила мне ночи тень,
но смелость я теряю
с рассветом каждый день.

Теперь дневные тролли
и шума жизни жуть
мне страха острой болью
пронизывают грудь.

Я в уголке под тенью
ночной приют нашел,
и там мои стремленья
взмывают, как орел.

Пусть шторм грозит, пусть пламя
объемлет небосвод,
парю над облаками,
пока не рассветет.

Под игом синей тверди
я мужества лишен.
Но верю — подвиг смерти
мною будет совершен.

В альбом композитора *

Орфей зверей игрою умирал
И высекал огонь из хладных скал.

Камней у нас в Норвегии немало,
А диких тварей слишком много стало.

Играй! Яви могущество свое:
Исторгни искры, истреби зверье.

* Стихотворение посвящено
Эдварду Григу (1843—1907).

Эмме Клингенфельд *

То, что дома в сердце у меня поет,
с юга мне навстречу эхо отдает.

И его я слышу, словно нежный звон,
а ведь это тот же мой норвежский сон.

То не эхо было с оснеженных гор...
Летний и лесной мне эхо шлет простор.

Так перелагатель на чужой язык
мысли, чувства, голос до конца постиг.

Но иную книгу шлю тебе теперь,
в ней могучей древней силы нет, поверь.

Там осенней ночи темный мир живет,
поутру над нею солнце не взойдет.

Речь идет о Женах, Смерти и Любви,
им идти во мраке, падать им в крови.

Юная, позволь же с родины твоей
унести твой дух мне в гул моих морей.

Глянь, вон фьорд Тронхейма пред тобой открыт,
там туман, как траур, в воздухе висит.

Тень Элины ** смутно в свой уходит путь,
мать ее — за нею. Ты о них забудь.

И вернись к потоку, что зовут Изар ***,
как бы от горчайших пробудившись чар.

* Эмма Клингенфельд — немецкая поэтесса, одна из первых переводчиц Ибсена.

** Элина Йольденлёве и ее мать, фру Ингер, — героини драмы Ибсена «Фру-Ингер из Эстрота».

*** Изар — река, на которой стоит Мюнхен.

В этом доме они...

В этом доме они тихо жили вдвоем
И осенней, и зимней порою.
Но случился пожар. И рассыпался дом,
И склонились они над золою.

Там, под нею, хранился ларец золотой,
Несгораемо-прочный, нетленный.
Рыли землю лопатой, дробили киркой,
Чтобы клад отыскать драгоценный.

И находят они, эти двое людей,
Ожерелье, подвески, запястья, —
Не найти ей лишь веры сгоревшей своей,
А ему — его прежнего счастья.

Ингер Хагеруп

(род. в 1905 г.)

Карин Бойе *

Мы все умрем когда-нибудь, подруга!
Тебя не знала я, но ты со мной,
Тебя я вижу здесь — в купе вагонном,
Ты словно снег, что прячет пламя Юга...
Тревожная в молчанье напряженном.

Упсальская равнина — мрак ночной,
И звезды над тобой летят высоко.
Была ты в мире самой одинокой.

Подруга! Всех людей конец известен,
Но будет жить души высокий строй.
Боль раскаленная твоих прекрасных песен
Тебя навеки сделала живой.

* Прогрессивная шведская писательница
(1900—1940).

Норвежская рождественская песня

Снег за окном. Уютный дом.
Родила сына мать.
Счастливой ночью рождества
Должны все сладко спать.

Большая елка. Блеск свечей.
Детишек хоровод.
В рождественский счастливый день
Ждет радостей народ.

Забуть нужду, забуть печаль
Велит нам добрый бог.
Танцуй и пой и ешь с семьей
Рождественский пирог.

А «храбрецы», что день за днем
Далекий край бомбят,
Бросая щедро тонны бомб
На головы ребят, —

Решили, ради рождества,
Устроить «выходной»...
Да будет мир на небесах
И на земле покой.

Нурдаль Григ *

Лишь ночь мильоны покрывал
Бросала над берегами, —
Свою Норвегию ласкал
Он нежными руками.

И что-то властное опять
Его сюда манило,
Он знал, что значит тосковать
И горевать о милой.

В пылу борьбы и под огнем
Он был необычайным,
Мечтанье это стало в нем
Его оружием тайным.

Сколь юным сердце быть должно,
Чья страсть неодолима, —
Позор и честь несет оно
Своей страны родимой!

Сколь юным сердце быть должно
И трепетным сверх меры,
Когда огонь несет оно
Чистейшей твердой веры!

Во времени ль огонь горит?
Пока пылает пламя —
Норвегия боготворит
Его, как чести знамя.

* Норвежский писатель-антифашист.

Прелюдия

Нам светофор мигает: «Стой!..»
Сквозь мокрый майский день
По свежим лужам мы одни
Бредем среди листвы густой,
Где разукрасила сирень
Лиловые огни.

И под дождем уютно нам,
И странно мы молчим.
Мы знаем — время не пришло,
Но нашим сладостно сердцам
Услышать, как звучит светло
Любви безмолвный гимн.

* *
*

Ты хотел, чтоб милой безделушкой
Стала я по прихоти твоей,
Шуткой и забавою за кружкой
Между веселящихся друзей.

Но слова иные сердце знает,
Что пылают и сгорают в нем...
Сколько женщин молча погибает
Под любви безжалостным ярмом!

Это сердце ты берешь рукою,
Безделушку милую губя...
Ты хотел, чтоб стала я такою,
Я и отрекаюсь от себя.

Нурдаль Григ

(1902—1944)

Песнь Вардэ *

Открытый сразу всем ветрам,
Темнеет остров голый.
Деревьям нет надежды там,
Там не летают пчелы,
Там нет и карликов-берез,
Но меж камней нагих возрос,
Трудясь без жалоб и без слез,
Против судьбы восставший.

Здесь всё — трудов жестоких плод,
Все добыто борьбою,
Здесь трудно человек живет,
Измученный нуждою.
Но шторм еще не вся беда, —
В порту ждет строгий фохт ** всегда,
Что парней грабит без стыда...
Но люди те — норвежцы.

* Вардэ — город на севере Норвегии.

** Фохт — королевский чиновник.

Здесь жизнь страны сбережена
Рабочими руками,
Их силою живет страна,
Те люди — чести знамя.
Когда во мраке тонут дни,
В их окнах светятся огни,
Народу дороги они,
Их жизнь — страны надежда.

Большой ты куплена ценой,
Страна, где блещет море,
Где берег светится морской
И синь в ребячьем взоре.
Там, на просторе высоты,
Похожи птицы на цветы...
Страна надежд, прекрасна ты
Под солнцем полуночным.

Герд

Бомбы выли близко,
Тлел огонь, синяя,
Шел я коридором,
Полным темноты.
Шел к тебе, к любимой,
В поисках тревожных,
Издали я слышал:
Тихо пела ты.

Песню напевала
Ты не из упрямства,

Но ее, подслушав
В тайной тишине,
В сокровенной глубине
Молодого сердца,
Ты ее запела
Словно в полусне.

Песнь неслась родная
И в тебе лучилась
Радостным и светлым
Мужеством своим.
Соки корневые
Так восходят к кронам
И несут им силу,
Поднимаясь к ним.
Ты крылом казалась
Чайки над волнами,
Вереском, растущим
На холме крутом,
Песней птиц весенней,
Зимней тишью леса...
Для меня была ты
Чистым родником.

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Рабиндранат Тагор

(1861—1941)

Дыхание песни

Та флейта, что молчала, вновь звучит,
И мнится — в лес весенний снова мчит
Весть о любимой вешний ветерок.
Я вспомнил песни давние опять
У Ганги *, где к цветку прильнул цветок, —
Улыбки снова стали расцветать.
Желанья прежние, развеяв сон,
Мне начинают сердце согревать,
И вновь взойти на лotosовый трон
Настал, мне думается, миру срок.
Вот нежный облик, ответ в темноте,
Вот голос, льющийся, как майский свет,
Вот нежный взгляд, но где же очи те,
Вот поцелуй, но губ любимых нет...

* Ганга — река Ганг. В языках Индии Ганг женского рода.

Старшая сестра

Таскали кирпичи и строили дома
У берега реки ее отец и мать,
И часто девочка сбегала к ним с холма,
Чтоб чашки иль кувшин водою наполнять.
С утра до вечера несется легкий звон,
То о кувшин запястья — тхон-тхон-тхон.
А вслед за нею братец маленький бежит,
Измазан глиною и наголо обрит,
Ручною птицею он бродит по пятам
Сестры. Всегда послушен он ее словам
Настойчивым и строгим. Глиняный кувшин
У ней на голове, а рядом с ней, как сын,
Братишка, — так она и мается с утра,
Сама ребенок — старшая сестра.

Переправа

Из двух деревень, разобщенных рекой,
Стремятся всегда к переправе одной
И те, кто покинул отеческий дом,
И те, кто, вернувшись, спешит на паром.
А в мире в борьбе иступленной тела,
Потоками вспенившись, кровь залила.
Эпохи сменяются, годы летят,
Развенчанных топчут, увенчанным льстят,
И в жажде познания приникли уста
К той чаше, где в нектар отрава влита.

И здесь только тайное имя хранят,
В две стороны глядя, деревни стоят.
Одна переправа над ширью речной,
Тот из дому едет, тот рвется домой.

Африка

В далекий тот и самый смутный век,
Когда свидетель в творческой досаде
Опять крушил все то, что создал сам...
В тот день, когда от ярости его
Смятенная земля заколебалась,
Вмиг руки моря Красного тебя,
О Африка, от суши оторвали,
С материком восточным разлучив,
И поместили среди гор лесистых,
Туда, где еле-еле брезжит свет,
На произвол судьбы тебя оставив.
Там тайны важные копила ты:
Открыла воды, что подобны небу,
Природы неизведанные чары
В тебе рождали к тайному любовь.
Ты ужас побеждала громким смехом,
В чудовищные кутаясь одежды,
И увлекалась почитаньем духов
При грохоте священных барабанов.

О ты, погруженная в сумрак,
Ты, чей человеческий образ
Под черною тканью таится
От взоров людей недостойных!

Явились они с кандалами,
Такими, как когти гиены;
То было насильников стадо,
И в думах их — мрак полуночный.
А их первобытная алчность
Бесстыдна и бесчеловечна,
И вот от беззвучного плача
На залитых кровью тропинках
Пыль стала кровавою грязью.
И комья той грязи презренной
Твои осквернили прощанья,
А в это же самое время
На том берегу океана
Плыл набожно звон колокольный,
И он милосердного бога
И утром и вечером славил.
Играли кудрявые дети,
И в песнях поэтов звучали
Хвалы красоте...

Сейчас, когда западный ветер
Так резок, перед закатом,
Когда из тайных убежищ
Выходят хищники, воя,
Явись в скудеющем свете,
Поэт эпохи грядущей,
Скажи потерявшему совесть
Одно только слово: «Опомнись!»
Среди голосов звериных
Это будет последним словом —
Внятным словом высокой мысли.

* *

*

Чаша та полна страданий — о возьми ее скорей,
Сердце пусто и печально — пей ее, любимый, пей.
С чашей я всю ночь бродила, от себя гоня покой.
Ты с меня ночное бремя снимешь, друг мой дорогой!
В цвет надежды, в цвет желанный вновь окрасилась
волна,
Ярко-алыми устами пей печаль мою до дна.
С ней вдохнешь ты ароматы наступающего дня
И сияньем глаз любимых щедро наградишь меня.

* *

*

Когда сквозь сумрак предо мной, как сон, прошла она,
Еще над темною рекой свет не лила луна.
О неизвестная, тобой душа обожжена,
Прикосновением твоим, как песнею, полна.
Но ты ушла, исчезла ты, печальна и одна,
И в лунных радужных лучах сияет вышина.
Гирлянда у тропы твоя под месяцем бледна,
Как ожерелье, мне она на память отдана.

У раскрытого окна

Окно открыто в комнате пустой,
И безмятежен полдень золотой.
Мне песня вдруг послышалась вдали,
Как тайный голос из глубин земли,
Таким блаженством эта песнь полна,

Что в синеву душа унесена.
Кому мне гимн восторженный сложить?
Кого за песню мне благодарить?
В молчанье сердце тянется к словам,
В которых все звучит на радость нам.
Утихла страсть — пожаром не горит,
«Я счастливо», — мне сердце говорит.

**Автору «Анамики»,
поэту Сурьяканту Трипатхи Нирала**

Поэт, поток твоих стихов разрушил лжи твердыню;
Прочней и выше, чем утес, она была доньше.

Им сметена, разнесена рутина вековая.
О, как свободно льется он, себе преград не зная.

Художник создал горный ключ с водою серебристой,
Он весь хрусталь, он весь кристалл,
стремительный и чистый.

Из хрусталя себе воздвиг обитель славы гений,
Застыла в камне красота премудрых озарений.

Там в каждом слове блещет пик холодных Гималаев,
Там взлет мечты, вселенной гул и радость неземная.

И в каждом звуке гений твой по-новому проявлен,
Цветок Сарасвати святой, навеки ты прославлен.

Так сын Бессмертия — поэт не встретит увяданья,
Самой Сарасвати живет в его стихе звучанье.

Безлюдная долина

Есть безлюдная долина, озаренная луной,
Там от дремлющих деревьев запах терпкий и хмельной.
Дышат персиков бутоны и лимонов лепестки,
Ароматами насыщен лучезарный ночи зной.

От пьянящих ароматов млеют тело и душа,
Сны струятся и мерцают, нежно листьями шурша.
Отблеск с тенью, мрак и блики в колыпании немом,
Что-то пишет яркий месяц в темных чашах камыша.

В глубине рыдает кокил, предвещая долгий путь,
И вздымает птичий голос растревоженную грудь.
Это юности и счастья сокровенный чистый рай,
Там страданий этой жизни незаметна злая муть.

Сумитранандан Пант

(род. в 1900 г.)

Два мальчугана

Дом мой на пригорке, и ко мне во двор
Двое мальчуганов ходят с давних пор.
Полуголы, смуглы, полны свежих сил,
Словно кто-то кукол бегать научил.
Дом они обходят, устремляя взгляд
К мусору, где спрятан драгоценный клад:
Там лежат коробки, пестрых лент куски,
Серебром и золотом блещут ярлыки;
А найдут журнала красочный листок —
Зазвенит веселый детский голосок.
Радостно смеются, бегают кругом,
То видны, то снова скрылись за углом.
Как прекрасны эти голые тела,
Сколько в этих душах света и тепла!
И святая гордость на сердце встает:
Дети человека — вас родил народ.
В форме человека — это человек.
Так в костях и мясе целый мир сокрыт,
И живое тело для души не скит.
Смертный выше духа, что тоской томим,

Кто затоптан в мире, тот владеет им.
В этом мире будет можно, не страшась,
Нежить и делеять тела с жизнью связь.
Праведность желаний людям суждена,
В мире будет счастье и любви весна.
Мир — для человека, человек — господь.
Это рай, в котором торжествует плоть.
Ничего другого можно не желать!

Песня золота

Малая птичка полнится счастьем.
Где она песню эту взяла?
Росы на листьях леса блестящи,
Песня, как росы леса, светла,
Словно на каплях, светлых и чистых,
Вспыхнул от песни свет золотистый.

В яркой улыбке девственной Уши
Льется к нам с неба хмель золотой.
Утром сегодня, сон свой нарушив,
Ритм не взяла ль ты девы святой?
Золото в крыльях птицы искрится,
Амрита в песнях нежно струится.
В травах высоких гнездышко свито;
Боль, беспокойство в сердце твоём.
Птичка, откройся: было ль пробито
Робкое сердце нежным копьем?
Иначе как же в чаще безлюдной
Песня моя — у тебя, безрассудной?

Ночью ли знахарь темной науки
Вдул тебе в сердце этот мотив?
Днем ли взметнулись в золоте руки,
Амритой светлой птицу вспоив?
Песню верни мне, девочка-птица,
Дай золотистой в дом возвратиться!

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ	
<i>Юлиуш Словацкий</i>	
В альбом Марии Водзинской	15
Проклятие	16
Разлука	17
А[лександр]е М[ощенской]	18
Сонет I	18
Сонет II	19
В альбом Зофье Бобровой	20
<i>Мария Павликовская-Ясножевская</i>	
Пернатый	21
Ураган	22
Ника	22
Подсолнечник	22
Смерть Кариатиды	23
Недоразумение	24
Быть цветком?	24

Трены вислянские	24
Ива у дороги	26

Юлиан Тувим

Песенка	27
Сказать тебе не смею...	27
Счастье	28
Всё	28
Цыганская библия	29
Олень	30
О сирени	31
Ты	32
Темная ночь	32
Темное небо	33
Вечерние стихи	33
Воспомянь	34

Владислав Броневский

Wagun?	36
Последнее стихотворение	37
Калине	37
Зеленое стихотворение	38
Аноним	39
Счастье	40
Мария	41

Вислава Шимборская

Голодный лагерь под Яслем	42
Баллада	43
За вином	44

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Иржи Волькер

Покорность	40
В парке около полудня	46
Поэт, уйди!	47

Станислав Костка Нейман

Зимняя ночь	48
Понял я твое молчанье	48
Полемика	50

Витезслав Незвал

Продавщица чудес	53
Отдых	55
Доброй ночи	55
Ноктюрн	56

ИЗ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ

Иван Краско

Лишь к одной-единой	57
Мои песни	58
Дождь идет	58
Баллада	59
Песня	60

Войтех Мигалик

Бездетные	61
---------------------	----

Мирослав Валек

Прикосновения	63
-------------------------	----

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Пенчо Славейков

Cis moll	67
Микеланджело	71

Елисавета Багряна

Зоя	76
Виденье	77
Расплата	78
На «Гелиосе»	78
Вечная	79
Судьба	80
Забвтие	80
Безумие	81
Requiem	82
Сигнал. Свободен путь	83
Книга	83

Александр Геров

Литературный утренник	84
День	85

ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ

Сербский эпос

Хасанагиница	86
Пир у князя Лазаря	89
Молодая Милошевка и мать Юговичей	91
Смерть матери Юговичей	93
Омер и Мейрима	96

Бранко Радичевич

Перевод с сербохорватского

Бедная возлюбленная	103
Перед смертью	104
Гойко	105

Йован Йованович-Змай

Перевод с сербохорватского

Розы	107
XIX	107
XX	108
XXII	109
XXVIII	110
XXIX	111
XXXIX	111
XLII	112
Увядающие розы	113
XXXVI	113
XXXVIII	113
XL	114
XLII	115
XLIV	115
XLVII	116
LI	117
LVII	117
LIX	118
LXIII	119
LXV	120
LXVII	120
LXVIII	121
LXIX	121

Десанка Максимович

Перевод с сербохорватского

Снится мне...	124
Страх	125
Зимним днем	125
Счастье	126
Вечер	126
Усталость	127

Фран Левстик

Перевод со словенского

Король-беглец	129
Часы	131

Симом Енко

Из цикла «Картины»

Перевод со словенского

XIII	133
XX	133

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ

Михаил Эминеску

Венера и Мадонна	135
------------------	-----

Александру Тома

Скиталец	138
----------	-----

Тудор Аргези

Доброе утро, весна!	139
Потерянные листья	140
Перекресток	141

О чем грустить?	142
Плэмпале	143
Набросок	143
Вечерняя песня	144
Неизвестному поэту	145

ИЗ НОРВЕЖСКОЙ ПОЭЗИИ

Генрик Ибсен

Светобоязнь	146
В альбом композитора	147
Эмме Клингенфельд	148
В этом доме они...	149

Ингер Хагеруп

Карин Бойе	150
Норвежская рождественская песня	151
Нурдаль Григ	152
Прелюдия	153
Ты хотел...	153

Нурдаль Григ

Песнь Вардэ	154
Герд	155

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Рабиндранат Тагор

<i>Перевод с бенгали</i>	
Дыхание песни	157
Старшая сестра	158
Переправа	158
Африка	159

Чаша та полна страданий...	161
Когда сквозь сумрак...	161
У раскрытого окна	161
Автору «Анамики», поэту Сурьяканту Трипатхи Ни- рала	162
Безлюдная долина	163

Сумитранандан Пант

Перевод с хинди

Два мальчугана	164
Песня золота	165

ГОЛОСА ПОЭТОВ

Редактор *Б. Шуплецов*

Художественный редактор *А. Куцов*

Технический редактор *Г. Каледина*

Корректор *Л. Поль*

Сдано в производство 4/III-1965 г.

Подписано к печати 28/IV-1965 г.

Бумага 70X108^{1/32}

Бум. л. 2,75, печ. л. 7,53

Уч.-изд. л. 5,49. Цена 33 коп.

Темплан 1965 г., пор. № 911

Заказ № 2386

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Москва, Зубовский бульвар, 21

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров СССР
по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

